

В. Максимов · Ковчег для незваных



В. МАКСИМОВ

# КОВЧЕГ ДЛЯ НЕЗВАННЫХ



*1965*





**В. Максимов**

**Ковчег  
для незваных**

**ПОСЕВ**



*Обложка работы художника М. Шемякина*

*Жене моей — Татьяне — посвящаю*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

*Сквозь явь, сквозь сон, сквозь завесу ночи, через время времен и еще полвремени, раздвигая тьму тем и дни дней, струятся, стелются, ниспадают над грешной землей два голоса:*

— *Ты опять был там?*

— *Был.*

— *И опять явился просить за них?*

— *Да.*

— *Тебе не надоело?*

— *Нет.*

— *Но они же вновь предали тебя и прокляли самое твое имя!*

— *Это не имеет значения.*

— *Ты не исправим.*

— *Я твоего роду.*

— *Чего же ты просишь на этот раз?*

— *Все того же.*

— *Они давно забыли себя, им плевать на все, кроме своей ненасытной плоти, и они уже не дойдут.*

— *Дойдут. Вслепую, но дойдут, только ты помоги им, в последний раз помоги.*

— *Пусть будет по-твоему, но больше не приходи с этим...*

*И звездная тишь вновь смыкается над всей земной твердью, над Россией, над деревней Сычевкой, что под самой Тулой.*



Впрочем, деревней она считалась лишь по названию. На сорок без малого дворов крестьянством здесь было занято от силы пять-шесть, да и то вполнакала. Хозяйское оскудение это началось еще в конце минувшего века, когда, волею судеб, через уезд пролегла первая ветка Сызрано-Вяземской железной дороги и окрестная беднота потянулась туда за веселой жизнью, за легкой копеечкой. А потом пошло, поехало, загудело под гору: Пятый Год, Столыпинские Посулы, Первая Мировая, Лихая Гражданская и Три Великих Голодухи с Последней Войной в придачу лютой прополкой прошлись по Сычевке, окончательно лишив ее черной земляной основы.

Немногие выживали в этих смертных передрыгах, а те, кто все-таки выживал, плодил вокруг себя полое племя, которое с нищего своего малолетства приучалось более к суме и краже, чем к мужицкой тяготе или сельскому ремеслу. Оттого уже в наше время Сычевка и слыла знаменитой лишь тем, что дала округе и человечеству трех матерых, но забитых насмерть конокрадов, двух милиционеров уездного профиля и одного без пяти минут Народного Комиссара, канувшего где-то на долгом этапе между Владивостоком и бухтой Нагаева.

Суетливо шумная эпоха все плотнее обступала деревню отхожими промыслами: по всему горизонту выпростались из-под земли голубые пирамиды шахтных терриконов, среди ближних буераков замаячил тесовый ажур буровых, дохнуло жженой глиной с возникшего, будто по щучьему велению, над запрудой кирпичного завода, да и старая дорога к станционному царству стала еще утоптаннее и шире. Народ бежал земли, как мора, стихийной беды, Божьего наказания. Земля сделалась обузой для человека, его несчастьем и проклятием. Земля только обязывала, не давая вза-

мен ничего, кроме забот, налогов и каждодневного страха. Человек тяготился ею и скучал.

В конце концов из оставшихся около земли хозяев один был кузнецом, другой пасечником, а об остальных не приходилось и говорить: солдатские вдовы с выводком собственных и приبلудных ребятишек. Все они числились за соседним колхозом в Кондрове, где составляли особую Сычевскую бригаду, от которой, впрочем, пользы было, как от дождя в прошлогоднее лето.

В гибельной кутерьме смутного существования деревня даже не заметила, как в один из паводков шальная вода, взломав запруды, смыла с лица поверхности ее тихое кладбище (молодые сычевцы умирали в те поры на стороне, а стариков или данников случившейся в одночасье Первой Голодухи хоронили прямо на огородах), а когда, наконец, пришла в себя, то не обомлела, не опечалилась, а покорно взялась возить своих покойников за пять верст, на погост в Свиридово. Вместе с тягой к земле она теряла и память о самой себе.

Единственной приметой крестьянства, звеном, связывающим с прошлым, знаком былой принадлежности служила здесь только всякая бессловесная живность: куры, гуси, утки, поросята, реже — рогатый скот. Ненадежная жизнь пока заставляла сычевцев цепляться за это вынужденное в хозяйстве подспорье. Но присутствие этой извечной живности в зыбком, ставшем случайным быту сообщало окружающему тлену лишь еще бóльшую пронзительность.

К нашим дням утлые лодчонки ее крытых соломой и толем пятистенников плыли без руля и без ветрил по мутным водам российского безвременья, не вспоминая о прошлом и не загадывая вперед, вне берегов и надежды, с пьяной поволокой в глазах и с ожесточением в сердце, и никто в ней, ни один человек, ни одно живое существо не смогли бы ответить сейчас:

Куда и зачем?

— Трогай. — Подсаживаясь в телегу, отец даже не повернул головы в сторону избы, лишь повел слезящимся бельмом куда-то вверх сына. — Чего расусоливать-то. Глаза б мои не глядели!

Федор чуял, догадывался, что першит у папаньки за пазухой, только виду подать не хочет, самохинский фасон держит, потачки себе не дает, и оттого это краткое прощание с родным домом показалось ему еще горше. «Сидеть бы нам здесь, никуда не двигаться, — внезапно ожесточаясь, тронул он с места, — и куда только нас несет!»

Всю жизнь, сколько Федор помнил себя, он рвался отсюда куда глаза глядят, лишь бы прочь из этой тмутаракани, этой кричащей скудости и беспробудно матерного пьянства. Именно поэтому бросил когда-то школу и ушел в ремесленное училище, потом добровольно подался на фронт, но куда бы ни забрасывала его судьба, он неизменно возвращался туда, к этому щемящему в своей зябкости простору, к запахам прелой соломы и навоза на снегу, к печному дыму по утрам. Долгими ночами на чужбине снилась ему косяба над желтой водой сычевской речонки, скромные посиделки за околицей, бесконечные зимние вечера на теплой печи, и, просыпаясь среди тьмы, он исходил одновременно горьким и сладостным томлением.

И теперь, подаваясь в дальние края, к черту на кулички, на Курилы, до которых и расстояния невозможно казалось вообразить, Федор уверен был, что пройдет не так много времени и его опять потянет сюда, и он, проклиная тот день, в который родился, все же вернется.

Решение вновь попытать счастья на стороне пришло к нему сразу, едва он прочитал объявление о вербовке. Как всегда, «Оргнабор» сулил золотые горы впоследствии, а к посулам присовокуплял увесистые

подъемные. К тому времени он только что демобилизовался и долго ходил без дела, подыскивая место поосновательнее и вернее. На фронте Федор и шоферил, и на радиста выучился, а потому дешево ему продаваться не светило.

Вербовщик, вскользь просмотрев его бумаги, даже вопросов не задавал, кивнул только:

— Давай на медкомиссию и — оформляйся...

Поднялись всей семьей: отца, мать и престарелую бабушку ему в порядке исключения (уж больно, видно, вербовщику специалист показался) оформили как иждивенцев. Мать было заартачилась, куда, мол, нас понесет от своего дома да от скудного, но постоянного куска, но скорый на расправу отец быстро урезонил ее, а бабушке было все равно — лежать или двигаться, — даже вроде и повеселела от предстоящей дороги, и они, наконец, собрались.

Их провожала слякотная весна, все в ней теряло сколько-нибудь четкие очертания, все тонуло в подернутой хрупким ледком промозглости, и оттого расставание было особенно муторным. В этой морозящей слякоти даже телега казалась лишь лодкой, плывущей в саму неизвестность.

На повороте к Узловску Федор не выдержал, обернулся и вдруг почувствовал, что задыхается: сердце его, казалось, подкатило к самому горлу, и наподобие раскаленного угля, выжигало его изнутри: «Господи, вернусь ли?»

В Узловске Федор сдал взятую напрокат лошадь в коммунхоз, устроил стариков на постой и подался в первую попавшуюся забегаловку, где в компании местных алкашей набрался до зеленых чертиков. В светлые промежутки он изливался случайному собутельнику из инвалидов последнего разбора, за даровую выпивку услужливо поддакивавшему ему:

— Вот ты, я вижу, тоже воевал... Мог бы, значит, как пострадавший герой войны выбрать себе для



жизни любую точку страны... Хоть Ленинград, а хоть и Сочи... Так я говорю?

— Само собой...

— А почему вернулся?

Угощение Федора делало инвалида догадливым:

— Так ведь родина, как-никак. Правду, видно, в народе говорят: не нужна твоя хваленка, ты отдай мою хуленку.

— Вот то-то и оно... А меня леший крутит по миру, как, извини, дерьмо в проруби, или навреде перекаати... Хлипкая душа в человеке нынче пошла, безо всякой привязи, хоть заместо киселя вычерпывай... Если я здесь вырос, сколько похоронил, сколько на крестинах выпил, чего это меня на Курилы манит, вот что ты мне скажи, человек хороший?

«Человек хороший» был, видно, готов поддакивать ему до бесконечности, лишь бы выпить:

— Это ты, парень, в точку, это так, как в воду глядишь, с твоей головой тебе бы на верхи, не меньше.

— Верхи — не верхи, — Федор все больше проникался к собеседнику, — а три специальности имею, на фронтах ходил не за последнего. Шесть блях наработал и все не ниже как «За отвагу».

— Орла по полету видно, — не унимался в своем рвении инвалид, и кроличьи глаза его обволакивались надмирным блеском неистребимой питейной жажды, — такие люди нынче не валяются...

Разговор в таком духе продолжался до самого закрытия, и к тому времени компания вокруг их стойки разрослась до размеров небольшой полуроты, где каждый готов был глядеть в рот своего благодетеля, хоть до третьих петухов, не забывая при этом заказывать себе за его счет очередную выпивку, причем с закусью. Инвалид незаметно испарился, где-то посредине Федорова рассказа о детстве и юности, а новые слушатели уже внимали его фронтовой эпопее:

— Комбат grit мне: надо, мол, Федя, надо. А я ему: надо, мол, значит надо, заделаем в лучшем виде, на меня, мол, как на каменную стену. Ну и двинули мы втроем, два верных кореша у меня были, водой не разольешь, в огонь и воду, куда хошь...

Восторженный шепот вокруг нес и нес Федора, и никакая сила в мире, кроме милиции, уже не могла остановить его.

Потом все перемешалось: лица, люди, разговоры. Все плыло вокруг, и он сам плыл куда-то, так и не заметив даже, каким образом в конце концов оказался на улице. Морозная ночь ранней весны несколько протрезвила Федора. Он медленно ступал безмолвным, почти без огонька городом, и душа его, постепенно стряхивая хмель, начинала обретать сознание, а с ним и окружающий мир. Он вдруг почувствовал потаенную теплоту домов за заборами, ощутил звонкий хруст слабого ледка под сапогами, увидел звездное небо над собой: земля показалась ему огромным, плывущим сквозь ночь кораблем куда-то к еще неизвестным ей самой берегам. И в него хлынул неизвестный дотоле восторг: «Господи, братцы, нам бы только жить да жить, в такой красоте, а мы весь век одно дело — глотки друг дружке рвем!»

И была Ночь, и был Человек в ней, и был с ними Тот, Кто берег их для Своего Дня.

#### 4

В Москве их теплушку до формирования общего эшелона загнали на товарную станцию Митьково. Станция была тесно зажата между двумя кварталами старой городской застройки. С одной стороны вытягивался пивзавод и несколько коробок рабочих домов, с другой — тихая, вся в тополях улица: деревянные особняки попеременно с добротными каменными

капиталками. Эту улицу Федор знал хорошо, здесь жили его дальние родственники — Самсоновы. С их хозяином Алексеем Михалычем он вместе мобилизовался и в одном эшелоне уезжал на фронт. Мужик тот был серьезный, на войну шел после колымского семерика, который отбывал за связь с троцкизмом. Погиб Самсонов по дороге, на глазах у Федора, и оттого парня никогда не покидало чувство вины перед родственниками: вроде он как бы выжил за счет земляка, а потому, бывая в столице, к ним не заглядывал. Жили они, по слухам, в крайней нужде, перебиваясь с хлеба на воду. После Алексея Михалыча осталось двое, и жена его Федосья, грамотная неумеха из узловских фасонниц, совсем погибла бы, если бы не осталась при ней самсоновская сестра Мария, взятая в лучшие для семьи поры в няньки из деревни. На ней-то теперь и держался дом, коли можно назвать домом почти голые пятнадцать метров в исходившей пьяным криком коммуналке.

Но теперь что-то толкнуло Федора, что-то заставило его, он и сам еще толком не смог объяснить себе, что именно, пойти туда, на эту тихую улицу под тополями, в неказистый двор между двух домов, в темный и грязный коридор крикливой коробки и постучаться в обшарпанную дверь дальней родни.

Дверь ему открыла рыхлая, видно не старая еще, но только выглядевшая старой женщина и, без выражения поглядев на него тусклыми и как бы отсыревшими глазами, так же без выражения спросила:

— Вы к кому?

— Да к вам, Федосья Савельевна, здравствуйте. — И предупреждая уже готовый появиться на ее вялом лице испуг, успокоил: — Родственник ваш, из Сычевки. Самохина сын — Федор.

И по тому, как сразу ожило, потеплело ее лицо, Федор понял, сколько же нужно было вытерпеть этой женщине, которой по сути он и родней-то не прихо-

дился, а так, вроде седьмой воды на киселе, а то и жиже того, чтобы обрадоваться даже такому гостю.

— Заходите, заходите, — засуетилась она, — а то нас и родня-то забыла... Правда, время сейчас такое, не разъездишься больно... Хоть чайку поьем. Надолго к нам?

— Да нет, мы тут проездом. По вербовке на Курилы собрались. Здесь у вас на станции формируемся.

Федосья заметалась, замельтешила: хлопнула по затылку глазастого пацана своего — тихо, мол, — хваталась то за чайник, то за початую чекушку, то надумала картошку чистить, и по этой ее разбросанности было видно, что даже двенадцать лет без мужа ничему путному ее не научили. «Эх вы, городские, — с горечью жалея ее, посетовал Федор, — завсегда-то вы так!»

— Жалко, Маруся сегодня в первой смене, вот обрадовалась бы! — Неумело хлопоча, она все говорила, говорила, словно заговаривала какую-то известную только ей тяжелую думу. — Одна она у меня помощница, без нее, как без рук. Хорошо еще вот младшую удалось в ясли устроить, а то и с ней не потянули бы. А этот, — она снисходительно кивнула в сторону мальчишки, с затаенным ожиданием глядевшего на гостя с медалями и бляхами в две груди, — совсем от рук отбился, никакого сладу с ним нет. Был бы отец, научил бы уму-разуму...

Только в эту минуту до Федора дошло, докатилось, наконец, и коротко перехватило ему дыхание: ведь она и говорила-то беспрерывно, и металась попусту, что ждала от него хоть какой-то вести о своем муже, в надежде чуда и душевного спасения!

Но что мог он ей рассказать! Как еще на полдороге, где-то под Сухиничами, в чистом поле поливали их «мессера» разрывными, и командиры первыми кинулись врассыпную, а за ними следом хлынуло никем не управляемое и необученное воинство первого



призыва? Или о том, как изо всех не потерял головы только один ее муж и скомандовал рассыпаться, стягиваясь постепенно к ближнему лесу? Или еще о том, как тот, уходя последним, все осматривался, чтобы никто не отстал, и как сбрил его в последнем своем заходе «мессер» уже на самой опушке?

Федор и схоронил его сам с сычевскими корешами, и вроде бы даже могилу запомнил, но столько всякого куролесило потом по Смоленщине да и его самого пометало, поломало в этой четырехлетней передрыге, что и думать было нечего разыскать ее — эту скорую могилу.

Нет, Федор не смог бы, не посмел бы ей о том рассказать. Вместо этого он только молвил:

— Из таких хлопотных люди вырастают, Федось Савельна. — И сразу же заспешил, заторопился, боясь, что все-таки не выдержит, проговорится ненароком. — Двину-ка я, Федось Савельна, а то неровен час без меня уедут.

Та что-то поняла, что-то почувствовала: погасла вся, опала, и из блеклых глаз ее медленно изошел последний свет:

— Жалко, конечно... И чаю толком не попили... Но уж раз такое дело... Дорога дальняя...

Поднимаясь, он не выдержал, сунул в зазор стула свернутую вчетверо сотенную, а встав, придвинул его вплотную к столу:

— Прощевайте, Федось Савельна, не поминайте лихом.

Она ответила почти беззвучно:

— Что вы, что вы!..

С этим он и вышел. Москва ослепительно растекалась в капели и солнце. Прыгающими нотными значками воробьи выклевывали свою нехитрую музыку из спутанной сетки оживающих тополей. Кошки коварно жмурились на свету, в предвкушении легкой добычи. Ребятишки самозабвенно гомонили на троту-

арах, кто в «классики», кто — в «расшибалку». Мир плыл в солнечном дыму все так же к своим неведомым берегам. Жизнь продолжалась.

Легкая горечь от встречи с Федосьей Самсоновой еще саднила в Федоре, но в свои двадцать пять он видел столько смертей, да и сам не раз был от нее на такой паутинный волосок, что давняя гибель Алексея Михайловича, которого с тех пор душевно уважал, не могла все же пересилить в нем острого чувства сопричастности со всем, что сейчас буйствовало вокруг него.

Федор шагал, не разбирая луж, с веселой легкостью в своем упругом двадцатипятилетнем теле, радостно уверенный в том, что жить ему отпущено еще долго, что ждет его дальняя и сулящая новизну дорога и что, наконец, он найдет свое в ней место, а затем все же вернется в Сычевку и не с пустыми руками: «Не дрейфь, Федя: или грудь в крестах, или голова в кустах, мы тоже на этом свете не крайние!»

## 5

Тихон Самохин был мужик, как о нем говорили в деревне, «нёрванный», а попросту — самодур. По самодурству своему и глаз-то повредил: не уступил однажды дороги соседскому бугаю. Жену он держал в страхе Божьем, и даже мать его, старуха тоже с норовом, побаивалась своенравного сынка. Одна у Тихона имелась слабость — сын. То ли оттого, что детей у них больше не было, то ли по всегда присущей жестоким людям умильности, но Федору, еще сызмальства, он прощал все и не только прощал, а даже поощрял все его наклонности и капризы. И бывают же чудеса: не случилось с малым того, что случается в таких расставках с другими — не опаскудился он

в баловстве, не оседлал семейства, вырос любимцем деревни, парнем безотказным и покладистым.

Поэтому теперь, когда Федор показался на пороге теплушки, старик, хмуро подбивавший бабкин валенок бросовой резиной, сразу же ослабил в его сторону:

— Погодка-то нонче, а, Федя, перьвый сорт? — И заговорщицки подмигнул сыну своим единственным глазом. — Гуляешь все, кровя играют?

— Да нет, папаня, к Самсоновой заходил, жене Алексей Михалыча. Небось помнишь Федось Савелевну-то?

И оттого, что сын не сапоги по пивным бил, а, как самостоятельный мужик, проведаль родственников, хоть и дальних, да еще из тех, которых Тихон крепко недолюбливал за прошлый форс, но все-таки родственников, старик совсем оттаял и даже проникся к этой самой Федосье известным сочувствием:

— А то как же! Фасонистая баба была, оно и понятно, папашка машинист, грудь колесом ходил, да и муженек чуть не народным комиссаром заделался, укоротили только маненько, а так ничего, тожеть осанистый был.

— Брось, папаня, шутки-то шутить, — в сердцах огрызнулся Федор. — До точки баба дошла, до полной. Одно богатство два рта, спасибо, Маруська помогает, совсем каюк бы настал.

Старик и тут согласно закивал, мгновенно перестраиваясь на новый лад:

— А я что, Федя, я ничего. Сам сочувствие имею, одной с двумя, без подспорья, спасу нет, как чижало, — но упрямая злость, изъедавшая его, все же прорвалась в нем. — Только Клавке-то Андреевой, так думаю, не легче было, когда ее с ейными детьми, чуть не в одном исподнем те, вроде Лешки Самсонова, в Сибирю гнали, а добра у ей случилось корова да лошадь, без мужа одна горбатила.

— Твоя правда, Севастьяныч, — откликнулся с верхних нар напротив Николай Овсянников, обычно молчаливый и обстоятельный мужик из соседнего с ними Кондрова. — Одна ли Клавка! А Венька Агуреев? А Семен Лакирев? А Гаврюшкин торбеевский? Небось помнишь, как взяли они его, будто бешеного, и все рукоятью, рукоятью по темени! Особливо один очкарик старался: плюгавенький такой, в чем душа держится, а ярился дак за троих: «Бей их, кричит, кулацкую сволоочь!» Такая паскуда, сейчас вспомню — душа горит!

Он вдруг замолк, чувствуя, видно, что сгоряча сказал лишнее. Мужик Овсянников был битый, мятый и много катанный: битый Гражданской, мятый Голодухой коллективизации и катанный потом по этапам за незаконно кошенный лужок в Кондровской рощице. Счастье его — Вторая Война все списала, домой вернулся в орденах до поясного ремня, а то бы не видать ему до могилы не только покоя, но даже этой вот вербовки.

На Курилы Овсянников подался вместе с женой Клавдией — вечно поджатые губы на безбровом и злом лице — и единственной дочкой, тихой семнадцатилетней беляночкой — Любой, беременной от прохожего молодца, в чем она загодя призналась родителям. Как правило, семейство это переговаривалось между собой только шепотом и старалось держаться особняком от остальных, то ли из-за дочери, то ли просто по давней привычке.

Вообще, вагон делился на четыре части, четыре закутка, четыре покуда разделенных и замкнутых мира: по два с каждой стороны и на каждой двое нар — верхние и нижние, с добротной времянкой посредине. Самохины занимали нижнее левое отделение, Овсянниковы — верхнее правое. Они и оказались здесь единственными чисто деревенскими. Другие две семьи были из Узловска.



Напротив Самохиных размещалась молодая пара Тягуновых. Сергей — заводной слесарь локомотивного депо и Наталья — счетовод из станционной бухгалтерии: разбитная, бойкая, с кирпичной рыжей челкой наискосок ото лба до уха. Она куда-то постоянно бегала, что-то добывала, запасала впрок, не забывая при этом постреливать в сторону Федора бесовским глазом.

Над Самохиными ворошилось многочисленное семейство узловского татарина Алимжана Батыева, конечно же, по кличке «Батый», и там — наверху, с утра до ночи, галдела, плакала и смеялась, тараторила разноголосая кутерьма.

Эта красная коробка на колесах, этот выдавший виды железнодорожный челн должен был стать теперь для всех их домом и крепостью на много дней пути до самого Великого, или, как его еще называют, Тихого океана.

Когда Федор думал об этом, ему становилось одновременно и весело, и тревожно. Война покантовала его по теплушкам и пульманам, кажется, всех типов и состояний, но одно дело — сутки-двое, да еще, чаще всего, в мужской компании, где и ехать-то было сплошное удовольствие, как говорится, и себя покажешь и на людей посмотришь, а другое, когда в каждом углу по семейству, иное еще и с целым выводком. «Вот, елки-палки, кошкин дом, — посмеивался он про себя, — хоть плачь, хоть падай!»

Федор поднялся было покурить на воздух, но едва потянулся к двери, та, словно по-шучьему велению, распахнулась перед ним, и в ее проеме обозначилось скуластое, в сетке продубленных морщин лицо — золотозубый рот в улыбке от ушей до ушей:

— Привет, работяги! Как живете-можете?

— Живем ничего, — за всех ответил Федор: он почему-то сразу понравился Федору, этот «фиксатый» дядя, — можем плохо.

— Ты, я вижу, весельчак, — еще шире осклабился тот, — хочешь, на всю дорогу массовиком-затейником оформлю?

— А ты кто такой? — Федор не любил, когда его осаживали.

— Не по уставу с начальством разговариваешь, солдат, — тот продолжал все так же улыбаться, но в сивых глазах его уже определился холодок, — но коли и вправду интересуешься, то я начальник эшелона Мозговой, — и чуть подумав, — Павел Иванович.

Гость ловко, в два движения (видно, что не впервой) оказался на пороге, легонько, словно неодушевленный предмет, отодвинул Федора в сторону, вышел на середину теплушки, по-хозяйски огляделся и уверенно произнес:

— Внимание, слушай мою команду! — Он и вправду стоял посреди вагона, как на капитанском мостике. — Перепивать запрещаю категорически, драки — тоже, отлучаться на стоянках только в пределах станций, шашни — в меру. За нарушение — немедленно списываю на берег. Вопросы есть?

Во всей его немного грузноватой фигуре, которую плотно облегалo потертое шинельное полупальто с боковыми карманами, в повадке держаться, в движениях — коротких и властных — чувствовался человек, знающий цену как себе, так и прожитой жизни.

Мужики инстинктивно, нутром сразу почували: хозяин! И выражая это общее настроение, Алимжан бойко откликнулся сверху:

— Есть, товарищ начальник!

Тот снова золотозубо заулыбался, сдвинул на затылок полувоенную фуражку и подытожил:

— Ну вот и добре. Берите ноги в руки, сейчас паровоз подцепят и двинемся. — И его мгновенно смело вместе с возгласом: — Так держать!

Первым нарушил молчание Овсянников:

— Этот не попустит, мужик сурьезный, видать, не в первый раз на этом деле.

— Мы таких говорков, — огрызнулся раздосадованный своим конфузом Федор, — сшибали хреном с бугорков.

— Без хрена, однако, останешься, Федя, — подзадорил сына Тихон, — не мужик — дуб.

— Лбы не расшибите, кланяючись, — Федор огрызнулся больше из самолюбия: в общем-то, Мозговой и ему пришелся по душе. — Мало на вашем хребте покатались.

ЗаклЮчила Наталья Тягунова, определив за всех коротко и обнадеживающе:

— Подпоясывайся, мужики, у этого не забалуешься!

И, словно утвердительно вторя ей, оттуда, из-за чуть приоткрытой двери, потянулся протяжный гудок паровоза, вагон дрогнул и, медленно набирая скорость, поплыл в открытое ему впереди пространство.

Покуривая в дверной просвет, Федор вглядывался в утекающий окрест. С тех пор, как он впервые, в ранней юности, уезжал из дома, в нем исподволь, будто почвенная вода сквозь песок, постепенно выявлялось, пока не заполнило его целиком, чувство окончательной утраты всего, что проносилось сейчас мимо него: каждого дома, дерева, стрелочника возле переезда, самого переезда, даже надвигающихся сквозь сосны синих сумерек над пригородными дачками: «Неужто насовсем, — падало и обмирало в нем сердце, — неужто наглухо?»

Чем дальше, тем местность становилась приземистей и лесистой. Казалось бы, та же Средняя полоса в вечерней дымке поздней весны, но что-то, едва заметно, вскользь, легким намеком уже менялось вокруг, будто по запыленному стеклу внезапно провели мокрой тряпкой: даль заострилась и посвежела.

Где было тогда догадаться Федору, что это их поезд стремительно поворачивал на Восток!

*Раскаленные жальца песчинок цепко впивались в каждую пору кожи. Тело хрупко и болезненно позванивало, как бы сотканное из огненной, пористой массы. Губы, полость рта, гортань, будто сплошная, наспех выплавленная труба, исторгали знойно сипящую боль. Но люди, множество людей, растянувшись на многие горизонты, всё шли и шли сквозь этот песок, и никто из них не ведал, где и когда закончится этот их поистине безумный путь.*

*Песчаное царство сделалось колыбелью, жилищем этих людей. Их жизнь завязывалась и распадалась по его зыбким, но неумолимым законам. В этом царстве, как и во всяком другом, особи каким-то чудом находили друг друга, и от их любви на свет появлялись дети, чтобы, едва встав на ноги, пойти бок о бок с другими дальше. В конце концов выжило поколение, какое, родившись в движении, считало, будто это движение и есть смысл их существования. Им не у кого было спросить, на могилы они не оборачивались, а до тех, которые шли впереди и всё знали, было так далеко, что даже птице туда пришлось бы лететь много дней и ночей подряд.*

*Но если бы кто-нибудь мог мысленно представить Идущего Впереди, то он увидел бы высокого Старца с глубоко запавшими глазами василиска и горькой складкой у твердых губ. В нем не было возраста, ему стукнуло не меньше Времени, а может, и еще больше. Он шел, опираясь на карагачевый посох, шел, почти не глядя под ноги, казалось — наугад, не сообразуясь ни с целью, ни с выгодой пути. Какое-то затаенное, но точное з н а н и е руководило им в его намерениях и поступках. Он з н а л не только, где и когда они*

остановятся, — но и то, что творилось у него за спиной, он тоже з н а л. З н а л, но не оборачивался, и лишь с течением лет горькая складка у твердого рта становилась всё горше, а поступь, тем не менее, всё упорней и стремительней.

Рядом с ним, приотстав на полшага, все эти годы тенью следовал крепкий еще муж, в легкой походке которого чувствовались игра ума и пытливость характера. Он безоглядно верил Старцу, верил его горней мудрости, высокой миссии и приобщению к Свитку Времен. Ему еще помнился день, когда они выходили из Египта: опрокинутое в зеркало водоема утро, морозная тишина глинобитных улочек и обжигающее поветрие со стороны пустыни. Тогда он был чуть ли не мальчиком, девушки даже не опускали глаз при его появлении, а мелюзга зазывала в свои игры, но с тех пор минуло столько лет и произошло столько событий, что он, по его собственному мнению, мог бы давно стать дедом или даже прадедом. Но, посвятив себя Старцу, он уже не помышлял о женщинах, и плоть более не беспокоила его.

Он считал бы себя счастливым человеком, если бы не стал замечать за собой в последнее время пугающих его странностей. Скорее даже одной странности: ему вдруг порою начинало казаться, что здесь он уже проходил. Уверенность была настолько поразительно полной, что его подмывало зажмуриться, стряхнуть наваждение и более не возвращаться к этому прельстительному соблазну. Но жуткая фата-моргана повторялась всё чаще и чаще, подвергая его унынию и смущению духа.

Однажды он всё же не выдержал, слишком уж зеркальным показалось сходство: еле заметный выступ глинобитной руинки в обрамлении случайных колючек. Ему вдруг почудилось, что он медленно сходит с ума: руинка была выщерблена по краям, и оттого в середине ее образовался неровный, но харак-

*терный конус, точь-в-точь такая же попалаась им на пути долгое время тому. Белая тень безумия коснулась его головы. Не наказывай меня, Господи, не лишай меня разума!*

*Глубокой ночью, когда над горизонтами горизонтов опустилось сонное забытье и последние уголья дотлевали под пеплом вечерних костров, он неслышно подполз к Старцу и тихо пожаловался:*

*— Прости меня, ребе, но мне кажется, что я впадаю в безумие.*

*— Говори.*

*— У меня такое чувство, будто я уже видел местности, где мы проходим сейчас. Это или бездна, или соблазн, отврати от меня наваждение, если можешь.*

*— Забудь об этом.*

*— Но мне страшно, ребе!*

*— Тебе будет легче, если я скажу, что всё так и есть на самом деле?*

*— Пощади меня, ребе!*

*— Ты хочешь пощады или правды?*

*— Достанет ли у меня сил вынести эту правду?*

*— Ты уже всё знаешь, и ты в руках Господа.*

*— Но зачем, зачем, ребе? Зачем столько лет мы устилаем свой путь могилами?*

*— Но разве ты не слышишь крика новорожденных?*

*— Чтобы завтра их погрести? Зачем?*

*— Затем, чтобы, похоронив рабов, мы вышли отсюда свободными и навсегда забыли о рабстве. Если ты не готов идти дальше, останься и обратись в тлен легко и бездумно.*

*— Я с тобой, ребе...*

*И, словно разбуженный его ответом, под ногами у них дрогнул и пополз песок, а следом, из самых глубин подпочвенных недр, докатился протяжный и грозный гул, напоминая о хрупкости и тщете земной тверди.*

Мокрые, в первых листочках тополя под окном источались утренней изморосью. Соседние дома гляделись сквозь них особенно подслеповато и уныло. Тусклое, в коротких воробьиных росчерках небо над городом не обещало погожего дня. От трех огромных окон внутрь тянуло устойчивой зябкостью: под главк была наскоро приспособлена здешняя школа-десятилетка, отчего кабинет Золотарева всё еще упрямо смахивал на заурядную классную комнату. Ни штучная люстра, ни увесистые ковры, ни тяжеловатая, красного дерева мебелировка так и не смогли сановно замкнуть это, будто специально приспособленное для сквозняков и беготни, пространство.

После уютных и хорошо протопленных, в скрадывающих звуки портьерах и занавесках, кабинетов берлинского пригорода Карлсхорста, где Золотарев поочередно сменил несколько отделов в Экономическом управлении Штаба СВА, он с трудом свыкался с забытой было за эти годы угрюмой бесприютностью родимых стен.

Назначение застигло его врасплох. Еще за день до этого он даже помыслить не мог, что планида его повернется так круто и непостижимо. О том, что в Берлин должен вот-вот нагряться «сам», поговаривали давно, но, наверное, именно потому мало кто воспринимал эту байку всерьез. Даже — впрочем, слегка, на большее никто не осмеливался — разыгрывали друг друга, оповещая о благополучном прибытии высокого начальства, а когда оно действительно нагрянуло, все затаились по своим присутственным нормам в ожидании суда и расправы. Этому в первую голову способствовала мрачная слава гостя, курировавшего на верхах органы внутренних дел и госбезопасности. Те, кто когда-либо хоть косвенно сталкивался с ним, вспоминали об этих встречах без особого энтузиазма.

Золотарев ждал, как другие. Он давно усвоил спасительное правило любой службы: позовут не позовут — жди, будь начеку, приготовься во всеоружии. Он дотошно перебрал в памяти все возможные упущения по своему отделу, собрал в тисненую, специально для торжественных случаев, папку важнейшие бумаги, продумал манеру говорить и держаться: «Вроде ничего не забыл, — мысленно подытожил Золотарев, — пронеси, Господи! Да минует меня чаша сия!»

Но «чаша сия» его все-таки не миновала. На другой день к вечеру у него на столе призывно проворковала внутренняя линия:

— Ноги в руки, Золотарев, — в угрожающем полупешоте старшего адъютанта начальника Управления, как ни странно, сквозило нечто обнадеживающее, — и единым духом — на ковер.

Взгляд искоса вниз (в порядке ли мундир?), левой рукой слегка по волосам (не взлохмачен ли?), тисненую папку в правую руку (как полагается согласно канцелярской субординации!), стремительный и бесшумный бросок вдоль коридора, и через минуту, не более, он уже тянул на себя ручку обитой кожей двери начальника Управления.

Человек в штатском за огромным генеральским столом даже не поднял на вошедшего головы. Так же безразлично, не отрываясь от бумаг, выслушал высокий гость и его уставной рапорт, словно даже не читая, а исследуя каждую страницу и как бы силясь вникнуть в смысл того, что таилось не в самом тексте, а за ним — за этим текстом. Резко, рывками листая бумаги, он нетерпеливо посверкивал стеклышками пенсне, и безброво женственное лицо его то и дело капризно передергивалось. Так же, не поднимая головы от бумаг, он внезапно огорошил Золотарева:

— Рыбачить любишь?

— Так точно, товарищ Маршал Советского...



— Меня зовут Лаврентий Павлович, — тот впервые поднял на Золотарева глаза: в обратном фокусе увеличительных стекол они казались особенно колючими, — так удобнее и короче. — Едва заметный грузинский акцент только подчеркивал ленивую властность тона. — Это хорошо, что любишь рыбачить. Я ценю, когда человек любит свою работу. У меня есть для тебя такая работа. Начальником главка дальневосточных промыслов пойдешь?

— Готов выполнить любое задание партии и правительства! — Жаркая волна восторга и благодарности подхватила Золотарева. — Дорогой Лаврентий Павлович...

— Ладно, ладно, — лениво махнул на него тот пухлой ладошкой, — верю. — Он медленно встал, отодвинул от себя папку с бумагами (только тут, мгновенным наитием, Золотарев определил, что это его «личное дело»), вышел из-за стола и, заложив руки за спину, вразвалочку закружил по кабинету. — Но ты, Золотарев, должен знать, что не в рыбе суть. Мы доверяем тебе большое политическое и весьма деликатное дело. Наши доблестные воины с боями отвоевали у японских захватчиков исконно русские земли: Южный Сахалин и Курильские острова. Твоя задача — закрепить этот успех. Мы дадим тебе деньги, людей, технику, а ты нам — крепкую советскую власть на новых землях. Понятно?

— Так точно, товарищ... Лаврентий Павлович!

— Ты знаешь, что такое большевик, Золотарев? — тот остановился прямо напротив, глядя на него в упор, и тут же продолжил, не ожидая ответа. — Большевик ставит перед собой цель, прищуривается и идет к своей цели. Ничего вокруг не видит, только цель, и к ней идет, — маршал в штатском наглядно показал, как надо прищуриваться и каким образом идти. — Понятно?

— Так точно, дорогой Лаврентий Павлович...

Но тот уже повернулся к нему спиной:

— Иди.

Через три дня Золотарев обживал новый кабинет в Москве, на Верхнекрасносельской. С молодых канцелярских ногтей усвоив безошибочное правило «начальству виднее», он не задумывался над тем, почему выбор пал именно на него. Сейчас он был полон восхитительного ощущения своей власти над огромными территориями и десятками тысяч людей. Одно лишь сознание того, что по первому его приказу все эти земли и массы оживут, придут в движение, вызывало в нем прилив горделивого воодушевления. «Знай наших, — почти пел он себе, — авось, тоже не лыком шиты!»

Золотарев машинально листал представленные ему на визу списки оргнабора, небрежным взглядом скользя по плотным колонкам цифр и фамилий, когда рассеянное его внимание вдруг напряглось и мгновенно выхватило из машинописного ряда: «Самохин Федор Тихонович, тысяча девятьсот девятнадцатого года рождения. Место рождения: деревня Сычевка, Узловского района, Тульской области».

Ошибки быть не могло: другой Сычевки, что в Узловском районе, да еще в Тульской области, в природе не существовало. И Самохины в этой деревне имелись одни. И парня самохинского, местного заводилу, Золотарев не забыл. «Вот сиротское счастье, — в сердцах посетовал он про себя, чувствуя, как стремительно улетучивается из него недавнее воодушевление, — земляков мне только под началом не хватает!»

О Сычевке и о сычевцах Золотарев обычно старался не думать. Почти всё, о чем ему не хотелось бы вспоминать, было связано у него с родной деревней. Еще в молодости забросив крестьянство, старший Золотарев подался на Сызрано-Вяземскую железную дорогу паровозным кочегаром, но из немалого по тем временам и деревенским меркам заработка своего до

дому доносил меньше половины, оттого хлеб у них бывал на столе через день, а то и реже. Тихий и уступчивый по натуре, отец во хмелю терял рассудок и тогда доставалось всем без разбору: и жене, и сыну, и теще с тещей. Похмельными утрами он вздыхал, казнил, даже в церковь заглядывал, но в день получи все затевалось сначала. По той причине семейство их на деревне считалось из последних, что стоило младшему Золотареву больших обид и синяков: не дразнил и не бил его только ленивый.

Долгий кошмар этот оборвался внезапно и драматически: отец по пьяной лавочке попал под маневровый паровоз, и хлопотами путейского начальства Золотарева определили в дорожный интернат на полное довольствие. Здесь с воодушевлением новообращенного он бросился в общественную деятельность, где вскоре, как сын беднейшего пролетария, и преуспел. Перед самой войной Золотарев уже был секретарем Узловского райкома комсомола, но, даже прочно защищенный положением и властью, он все же старался по возможности объезжать родную деревню стороной. Он хотел забыть, избыть в мыслях душный кошмар своего сычевского прошлого, но оно, словно ржа в зерне, то и дело упрямо проступало в памяти.

Когда Золотарев впервые сел за письменный стол, ощутил под собой твердую устойчивость стула, вдохнул бессмысленно хлопотной атмосферы присутственного места, он вдруг ликующе осознал, что наконец-то обрел спасение. Здесь, где авторитет решался не кулаками или луженой глоткой, а тонким умением вовремя промолчать и так же вовремя высказаться, он очутился в родной ему стихии, и ничто отныне, кроме нового светопредставления, не могло бы выбить его с занятой позиции. И он тихой сапой дрался не на жизнь, а на смерть за каждую пядь своего места под солнцем, расталкивая локтями близстоящих, а иногда и перешагивая через них, пока, лихо меняя очередной

стул на лучший, не пересел в номенклатурное кресло и не пророс в него всеми своими конечностями и ко-решками.

По той же причине Золотарев не женился по сию пору: боялся в семейной сутолоке упустить еще один возможный шанс в своем служебном подъеме. Женщин в его жизни было наперечет, и ни одна из них не оставила сколько-нибудь внятного отголоска или памяти. Однажды только было поддался он жаркому наваждению, и ослаб сердцем, и малодушно изменил себе, своему раз затверженному правилу, и едва не поплатился за это, если не жизнью, то биографией во всяком случае.

Память было вырвала из прошлого крошечный сколок давней яви, но в этот момент зазвонил внутренний телефон: Золотарева вызывали к Министру.

По той подчеркнутой значительности, с какой Министр встал ему навстречу, Золотарев догадался, что разговор предстоит долгий.

— Здравствуйте, товарищ Золотарев, садитесь, — бульдожий подбородок Министра выжидающе напрягся: в меру долгая пауза, с достоинством выдержанная вслед за этим, лишь подчеркнула важность момента. — Сегодня, — он взглянул на часы, — ровно в двадцать один час ноль-ноль минут нас с вами примет, — голос Министра пресекая торжественным хрипом, — товарищ Сталин. Надеюсь, вы понимаете, — короткая, под прямым углом шея его еще более отвердела, — что это значит?

Новость, на миг жарко сдавив гортань, горячей волной вдарила в голову: он слишком хорошо знал, что это значит. Школа, которую ему пришлось пройти за годы работы в аппарате и в органах, в достаточной мере охладила прежний юношеский пыл, отложив в нем лишь смесь страха и восхищения перед человеком, достигшим такого положения, когда не нужно опасаться соперников или искать чьей-то дружбы. Слепой

в прошлом энтузиазм сделался для него сознательной и удобной личиной, с помощью которой он мог свободно плавать в капризных водах номенклатурного моря. Слова в этом море не содержали в себе прямого, соотнесенного с действительностью смысла. Слово здесь воспринималось только как пароль, символ, опознавательный знак. Следовало быть постоянно начеку, существовать как бы в двух ипостасях: субъекта — и слушателя, способного вовремя остановить, поправить самого себя. Лишний звук, избыточная нота, неосторожно составленное выражение влекли за собой гибель или забвение. И вся кружевная паутина этой чуткой сигнализации своей запутанной спиралью восходила к одной-единственной точке, к одному человеку и управлялась оттуда умело и неумолимо. Но баловням судьбы, чудом взлетавшим по ее смертельным лабиринтам к точке всех пересечений и соприкоснувшимся с нею, пути назад не было. Каждый из них становился тем трепетным светлячком, который сиял ровно до тех пор, пока на него падала тень этой точки. Поэтому предстоящий прием сулил Золотареву не одни лишь радужные перспективы: высота открывалась головокружительная, но бездна под нею и того пуще.

— Такая честь, товарищ Золотарев, не всякому достается. — Снова взял Министр высокую ноту, но не выдержал тона, обмяк, лицо по-детски расплылось мясистой гармошкой, обнажая прокуренные зубы. — И нас не забыл. Значит, и мы не последние. А то на Совете Министров мы, как интенданты для фронтовиков, вроде пасынков, всё в последнюю очередь, одни шишки собираем и никакой тебе благодарности. Война кончилась, теперь мы — на коне, народ за настоящую работу взялся, кормить надо. Товарищ Сталин зря не позовет, — Министр выжидательно уставился на него. — О молодежи тоже думает, о молодых кадрах заботится, перспективу видит, нам — старикам — достойную смену готовит...

Министр явно заискивал перед Золотаревым, и гость знал действительную подоплеку этой искательности и потому держался на равных, хоть и не выходя за пределы, дозволенные субординацией: так-то оно, подсказывал ему опыт, надежнее. Ведомство, которое направило его сюда, и те, кто командовал этим ведомством, фактически держали в своих руках все нити государственного механизма и осуществляли над ним тотальный контроль, мгновенно и жестко реагируя на малейшие отклонения от общепринятых и одобренных сверху норм, принципов, установлений. Человек, отпечкованный этим ведомством в любую ячейку правительственной машины, становился в ней как бы негласной параллельной властью, готовой в необходимый момент заменить уже существующую. Оттого Министр и вибрировал заискивающе в разговоре с ним, что сам в свое время заместил предшественника при подобных же обстоятельствах, прекрасно отдавая себе отчет в том, чем это для последнего кончилось.

— Что ж, — Министр взглянул на часы, поднялся, его массивная фигура монументально подобралась; он глубоко, всей грудью, вдохнул воздух, словно перед прыжком в воду. — Пора.

Москва за стеклом автомобиля уныло растекалась в холодящей измороси. Даже броские пятна побуревших от воды лозунгов и полотнищ не скрашивали ее угрюмой промозглости, в которой озабоченно двигался, перемещался, маячил людской поток. Золотарев, как почти всякий провинциал, не любил столицы, но неизменно тянулся к ней, ибо она таила в себе возможности, осуществление которых позволяло ему свысока смотреть на свое деревенское прошлое, будучи одновременно наградой, призом, компенсацией за все обиды и унижения пройденного пути. Откинувшись сейчас на спинку сиденья и вполуха поворотясь к собеседнику, Золотарев с горделивым удовлетворением отмечал и заискивающие нотки в голосе себе-

седника, и добротность своей одежды, и почтительность козырявших им вслед постовых милиционеров. «Пошла жизнь, — усмеялся он про себя, — видел бы это батя покойный!»

— Поговаривают, — Министр делался все доверительнее, — крупные перемены намечаются. Кое-кому из наших полководцев военный хмель в голову вдарил, наполеонами себя возомнили, гонор покоя не дает, забываться стали. — В ожидании ответной откровенности он даже слегка подался к соседу. — Головокружение от успехов, так сказать. Необходима общая перестройка. План «на ура» не возьмешь, здесь другой стиль руководства требуется. Молодежь надо выдвигать, молодежь, старики застоялись, задубели. — Не чувствуя взаимности в собеседнике, Министр осекся и тут же без стеснения сменил тему. — Курилы у нас сейчас самое слабое место, необходимо...

Пропускная система Кремля действовала с безукоризненной четкостью хорошо отлаженного автомата. После того как они, миновав Спасские ворота, остановились у правительственного подъезда, их уже не оставляло пристальное внимание контрольно-пропускной службы внутренней охраны. Проверка документов начиналась в вестибюле, а затем вновь и вновь происходила на каждой лестничной площадке, переходе и повороте, пока они не вышли в коридор, где по обеим сторонам, с интервалами в несколько шагов друг от друга, вытягивались по стойке смирно неподвижные, словно изваяния, офицеры госбезопасности, каждый из которых при их приближении слегка раздвигал затвердевшие губы:

— Спокойнее, товарищи... Спокойнее, товарищи... Спокойнее, товарищи... Спокойнее...

И от этого почти дружеского предупреждения сердце еще больше напрягалось и обмирало.

Человек, поднявшийся им навстречу в приемной, был мал, желт, худ, с круто срезанным назад голым лбом:

— Здравствуйте, товарищи. — Глубоко запавшие, цвета талой воды глаза изучающе посверливали вошедших. — Сейчас товарищ Сталин примет вас. Предупреждаю: вопросов не задавать, отвечать только, когда спросят, не перебивать, не пускаться в рассуждения. Понятно, товарищи? — Не ожидая ответа, он бесшумно выскользнул из-за стола, летучей походкой проследовал к двери кабинета, скрылся за нею и мгновенно, будто по волшебству, появился оттуда, уступая им дорогу. — Пройдите к товарищу Сталину.

Сталин сидел за столом в глубине кабинета и что-то писал, заслонив, словно от солнца, глаза ладонью. Ни звуком, ни жестом не отозвавшись на их появление, он продолжал писать, а они, устремленные жадным вниманием в его сторону, молча теснились у порога в ожидании кивка или слова. Провальной паузе уже, казалось, не будет конца, когда он, наконец, отложил перо, опустил со лба ладонь, придвинул к себе раскрытую этикеткой к ним коробку «Северной Пальмиры», взял оттуда папиросу, долго и старательно разминал ее между пальцами, закурил и лишь после этого встал и вышел из-за стола, оказавшись сутулым, но еще крепеньким старичком в маршальской паре, заправленной почему-то в щегольские, ручной работы бурки.

— Курилы, — размеренно, без всякого вступления начал он, медленным шагом пускаясь вдоль кабинета, — это наше дальневосточное подбрюшье. — Слово, видно, ему понравилось. — Вот именно, подбрюшье. Наш форпост на территории противника. — Он снова одобрительно повторил: — Главный дальневосточный форпост. Не следует забывать также, что это исконно русские земли, которые отошли к японцам в результате проигранной царизмом войны. — Его кавказский акцент, о котором так много кругом говорилось, как бы подчеркивал вескость сказанного. — Развитие нашей рыбной промышленности на Кури-



лах не только и не столько экономическая задача, но прежде всего задача политическая. Ваш главк, товарищ Золотарев, играет сейчас роль нашего полпреда на этих территориях. Выходит, вы, товарищ Золотарев, — тут он впервые поднял на гостей тяжелые, в склеротических прожилках глаза, — наш курильский посол или, если хотите, наш государственный генерал-губернатор. — Чувствовалось, что это сравнение его развеселило, он проследовал мимо них, удовлетворенно потирая руки. — Мне вас рекомендовал Лаврентий Павлович как дельного и перспективного работника. — Он вдруг остановился и сбоку, стоя вполоборота к ним, быстро взглянул на Министра. — А вы как думаете, ваше мнение, товарищ Министр?

Тот, мгновенно усыхая в размерах и молитвенно подбираясь, рассыпался захлебывающейся готовностью:

— Так точно, товарищ Сталин! Товарищ Золотарев — молодой растущий специалист с большим опытом руководящей работы. — В вопросе хозяина таил-ся подвох, и поэтому он спешил, торопился опередить события. — Считаю, что на любом участке товарищ Золотарев оправдывает высокое доверие партии и правительства.

Хозяин, повернувшись к ним спиной, вновь двинулся вдоль кабинета, видно, считая тем самым вопрос исчерпанным.

— Японские милитаристы с помощью своих океанских друзей несомненно попытаются в будущем предъявить права на Курильские острова. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность — вот наша генеральная линия в освобожденных районах...

Золотарев и раньше краем уха слышал, что вождь рыж, рябоват, длиннорук, но теперь, очутившись лицом к лицу с оригиналом, он заставлял себя не замечать этого, стараясь запомнить другие, более существенные для себя и своего будущего черты и дета-

ли. Он верил, что, начиная с сегодняшнего дня, его судьбе суждено круто и бесповоротно измениться: в иерархическом подъеме он выходил на последнюю прямую, и на этом пути любой ложный шаг мог стать для него смертельным.

Сталин производил на Золотарева впечатление человека, который постоянно к чему-то прислушивается, чего-то ждет, чем-то источается, выражая в разговоре лишь внешнюю связь с окружающими обстоятельствами. Казалось, он обкладывает, огораживает, баррикадирует словами то, что происходит у него внутри, от проникновения или вмешательства извне. Полая необязательность этих слов как бы обеспечивала ему надежность бесконечной самообороны.

— Как говорит русская пословица: делу — время, потехе — час. — Сталин решительно загасил папиросу в пепельнице. — Посмотрим фильм, товарищи. Хороший фильм знаменитого Чарли Чаплина. — Он жестом пригласил их следовать за собой. — Товарищ Сталин учит, что в нашей стране, — не скрывая усмешки, он распахнул перед ними боковую дверь, — каждый имеет право на труд, на отдых и на образование.

Подобное приглашение на кинопросмотр считалось с его стороны, как было известно, знаком особого внимания, отчего Золотарев сразу же приосанился и осмелел.

Чуть не на цыпочках они друг за другом проследовали мимо Сталина в открытые перед ними двери, оказавшись в небольшом зале с экраном во всю фронтальную стену и несколькими отдельными столиками с приставленными к ним стульями, где их встретил всё тот же немногословный человек из приемной, кивком головы указавший гостям, на какие места им надлежит сесть:

— Внимание, товарищи, — оповестил он их шепотной скороговоркой, — не оборачиваться, не пере-

говариваться между собой, без разрешения не вставать.

И растворился, исчез во внезапно наступившей темноте. Где-то за спиной у них прошелестел ряд неразборчивых фраз на два голоса: одни с приказной, другие с услужливой интонацией, после чего вспыхнул экран, на котором появился чужак в нелепой паре, в котелке и с тростью, попадавший на каждом шагу в самые неожиданные и смешные ситуации. Все фильмы с ним Золотарев просмотрел еще до войны и по нескольку раз, потешаясь и давясь от смеха, но только теперь, в этом маленьком зале, ощущая у себя за спиной присутствие силы, перед лицом которой вещи, события и люди казались уменьшенными до микроскопических размеров, он вдруг увидел, что смеяться здесь, собственно говоря, не над чем, что чужаку на экране вовсе не весело и что в карусельной веренице его неудач кроется какая-то не подвластная простому смертному закономерность...

Свет зажегся одновременно с появлением человека из приемной, с той же шепотной скороговоркой над их ухом:

— Товарищи, прошу следовать за мной. К товарищу Сталину не обращаться. Головы не поворачивать.

Гуськом, след в след, они двинулись к выходу. Сталин сидел за столиком возле двери, заслонив, как и в самом начале, словно от солнца, глаза ладонью. Перед замыкавшим шествие Золотаревым он слегка раздвинул пальцы, как бы желая еще раз в чем-то в госте удостовериться, и тот, с обвалившимся вдруг сердцем, заметил, что глаза его мокры от слез.

«Вот те на, — опамятовался Золотарев по дороге, — и на старуху бывает проруха. Тяжела ты, шапка Мономаха...»

На обратном пути Министр подавленно молчал и лишь у самого дома, выходя из машины, глухо выговорил:

— Указания вождя, товарищ Золотарев, для нас руководство к действию. — Видно, смирившись со своей обреченностью, он все же решил любыми способами оттянуть неизбежное. — Завтра же оформляйте командировку на острова, в сроках не стесняйтесь, новая обстановка требует внимательного изучения и анализа. Кстати, по пути загляните в наше Байкальское хозяйство, присмотритесь к производству, это вам пригодится на месте. Утром я подпишу приказ. До завтра.

Он с силой захлопнул дверцу, и тяжело, как бы сразу состарившись, двинулся через тротуар к подъезду.

«Укатали сивку крутые горки, — мысленно почувствовал ему Золотарев. — Вот она, судьба наша, индейка!»

### 3

Золотареву необходимо было как можно скорее освободиться от переполнявшей его ноши, выложить, рассказать кому-то обо всем случившемся с ним в этот вечер. Другьями в Москве Золотарев обзавестись не успел, да, по совести говоря, и не спешил ими обзаводиться, времена не располагали к откровенности, роли столичной за ним тоже не числилось, поэтому расставшись с начальством, он попросил отвезти себя на Преображенку, по единственному частному адресу, который значился в его записной книжке: «Улица Короленко, дом 6, квартира 11, Кира Слуцкая».

С Кирой он встретился в Потсдаме, куда она приезжала с концертной бригадой. Во время ужина, устроенного городским комендантом в честь москвичей, они оказались рядом за столом. Много пили, дурачились и танцевали, а потом он увез ее к себе. После той единственной ночи у них завязалась ни к чему не обязывающая переписка: он делился с ней

подробностями своего полувоенного быта, она отвечала, описывая ему ровным почерком школьницы столичные новости из актерской или околотелитературной жизни, со смешными и зло подмеченными деталями. Тон ее письма носил слегка снисходительный характер обращения старшего к младшему, хотя они были однолетками, но это лишь забавляло его, представляясь ему с высоты того положения, которое он занимал, наивным ребячеством. Кира была не замужем, считая, как призналась, брак для актрисы делом излишне хлопотным, жила одна, родители сгнули в ленинградской блокаде, и, видно, это ее с ранней молодости самостоятельное одиночество проступало в ней резкостью мысли и категоричностью суждений.

Перебравшись в Москву, Золотарев как-то позвонил ей, но не застал, а затем, закрутившись в организационной суматохе, никак не мог выкроить времени, чтобы вновь попытаться ее найти, и поэтому сейчас, по дороге к ней, он боялся вновь не застать Киру дома или, еще хуже, застать не одну, тем более, что ехал без предупреждения.

Золотарев с трудом отыскал в темноте холодного коридора необходимый номер, долго, обжигаясь, палил спички, высматривая фамилию Киры против пуговичного набора квартирных звонков, еще дольше звонил, прежде чем услышал за дверью ее торопливые шаги.

— Заходи. — Увидев его, она несколько не удивилась, будто они еще вчера виделись. — Здравствуй. Только тише. Соседи спят. — Это была ее манера — разговаривать отрывистыми фразами. — Вот сюда.

Он так спешил, горел, торопился выложиться, что, еще не раздеваясь, выпалил:

— Я только что от товарища Сталина!

— Да? — вяло молвила она, копошась у плитки. — И что же?

Но сдержанность Киры не охладила его порыва. Горячась, сбиваясь и перескакивая с одного на другое, он рассказывал ей о происшедшем со всеми возможными подробностями, не забыв, разумеется, и замеченных им слез на глазах Сталина. Когда Золотарев наконец умолк, Кира всё еще стояла спиной к нему, склонившись над плиткой с чайником. В небольшой, в одно окно комнате было пусто и серо. Стол, безликий шкаф, горбатое, в ветхой бахrome кресло, тахта, несколько фотографий на пожелтевших обоях почти не скрашивали ее безликой неуютности. Казалось, что хозяйка, наспех и кое-как расставив здесь случайные предметы, тут же без сожаления забыла о них: отсек-одиночка, как две капли воды похожий на тысячи таких же в утлом ковчеге столичного потопа.

— Хорошая режиссура, — не оборачиваясь, откликнулась она. — Классический Станиславский.

— Что? — Он сначала не понял ее, а когда понял, кровь бросилась ему в голову. — Ты отдаешь себе отчет...

— Отдаю, отдаю, милый, я не самоубийца. — Она повернулась, подошла к нему и, успокаивая, взъерошила ему волосы. — Просто, Илья, в большом деле без режиссуры нельзя. Великие люди склонны к театру, артистизм натуры сказывается.

— Можно подумать, что ты каждый день встречаешься с великими людьми...

— Нет, но моя подруга близка с одним человеком оттуда.

Золотарев мгновенно насторожился: ему немало пришлось слышать о театральном походе своего руководства.

— Может быть, и ты тоже?

— Мне туда дорога заказана, — буднично, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся, сообщила она. — Я еврейка, ты разве не замечал? Еврейки у вас теперь не в чести.

Новость скорее озадачила, чем встревожила его. До сих пор ему вообще не приходилось всерьез задумываться над этой проблемой. Она попросту для него не существовала. С евреями Золотарев сталкивался чаще всего лишь по службе. От всех прочих сослуживцев в большинстве случаев они отличались только деловитостью, умением приноравливаться к обстоятельствам и склонностью к легкой общительности. Но продвижение его по иерархической лестнице было таким безоблачным и крутым, что ревности к их талантам он не испытывал. И хотя до него доходили смутные слухи о перемене наверху курса по отношению к ним, особого значения он этому не придавал: «Сегодня так, а завтра по-другому!»

— Ерунда, — он встал и привлек ее к себе, — выброси из головы, какое это имеет значение, я у тебя паспорта не спрашиваю, откуда ты знаешь, может быть, я — татарин?

И вдруг его словно обожгло: он увидел в ее глазах столько робкой признательности и такую благодарную мольбу, что не выдержал и, боясь собственной слабости, отвернулся.

В эту ночь он как бы впервые разглядел Киру: в ней удивительно сочеталась ранняя зрелость женщины с доверчивой наивностью подростка, что подчеркивалось ее мальчишеской стрижкой и мягким, почти детским овалом лица. Забываясь, она закрывала глаза, отчего выражение мольбы и признательности на этом ее лице становилось еще более нестерпимо обезоруживающим.

— А знаешь, — приходя в себя, жалась она к нему, — говорят, на этих Курилах бывают страшные землетрясения.

— Наверное, бывают, — бездумно поддакнул он. — Ведь это рядом с Японией. — И потерял виском о ее висок. — Тебе-то чего бояться, оттуда до Москвы, как до луны.

— Как сказать! — еще теснее приникала она. —  
У нас зимой тоже были толчки.

— Какие уж там толчки, разговоров больше.

— Всё равно страшно.

— Спи, дурочка, я с тобой.

— Я уже сплю...

Утром он не стал будить ее, тихонько собрался и, уходя, оставил записку: «Мне сверху видно всё, ты так и знай. Целую». И лишь на улице, с удивлением к себе, отметил мысленно, что еще никогда не писал женщинам записок.

Небо над Москвой стерильно очистилось, день обещал быть солнечным, и, пешком пересекая пустынную столицу, Золотарев не сомневался, что отныне собственная судьба у него в руках, что поездка на Курилы станет началом его очередного восхождения и что главное в отведенной ему ниве жизни только начинается.

В полдень военный самолет, взмыв над Подмосковьем, уносил Золотарева на восток.



Двигался состав ни шатко, ни валко, как бы рывками, — то сходу минуя большие города и станции, а то сутками простаивая в тупиках захудалых разъездов. Стылая весна, казалось, ползла вместе с ними, не идя на убыль, но и не разворачиваясь по-настоящему: сказывалась медлительность сибирской оттепели. И лишь под самым Омском, когда перед ними во всю слепящую ширь раскинулась Обь, солнце наконец взяло полную силу и уже не оставляло их от зари до зари.

Двигаться состав принялся побойчее, вымахивал расстояния большими перегонами, выстаивая подолгу лишь на узловых пунктах, где застревал порою суток до трех.

К Новосибирску подъезжали ночью, но до самого города так и не дотянули: эшелон был задержан на товарном распределителе.

Спозаранку — ни свет, ни заря — в теплушке появился Мозговой, как всегда словно боевой конь: все жилочки подрагивают, все косточки ходуном ходят, властный глаз повелительно косит. Широко расставив ноги, встал посреди вагона, заложил корявые руки за спину, скомандовал:

— Привет честной публике, слушай мою разнарядку: мужики — за пайком, четвертый пакгауз рядом с водокачкой, бабы — за швабры, объявляю санитарный день, чистить, драить палубу до зеркального блеска, проверять буду носовым платком, об исполнении доложить, до скорого!

Развернувшись на каблуках, он тут же исчез в дверном провале и пошел себе играть голосом дальше, по эшелону...

Первой опамятовалась Наталья Тягунова. Мотнув рыжей копной вслед ему, сказала более одобрительно, чем с осуждением:

— Вот чёрт щербатый, не запряг, а погоняет, узды на него нету, на окаянного! — Она живо спустилась с нар, по-хозяйски огляделась вокруг, уперев руки в бока. — Давай, бабоньки, засучивай рукава, чего в самом деле в грязи преть, что мы — не люди, что ли! Ты, Любка, не рыпайся, — осаждала она потянувшуюся было к ней младшую Овсянникову, — без тебя управимся, обиходь-ка лучше бабку самохинскую, пускай на воздушке полежит, отдышится. — С мужской половиной разговор у нее был еще круче. — Хватит, мужики, прохлаждаться, задницу пролежите, катитесь в очередь за харчами, а то без обеда останетесь. — Подталкивая мужчин к выходу, она решительно взялась за тряпку. — Скатертью дорога, с пустыми руками не являйтесь...

По дороге на склад Федор не выдержал, безбидно посмеиваясь, посочувствовал Тягунову:

— Гляжу, у твоей бабы не забалуешься, Серега, рука у ней, видно, ох какая тяжелая!

— Правильная баба, Федёк, — тот горделиво засветился, подмигнул Федору, — за ней, как за каменной стеной, проведет и выведет, пальца в рот не клади, и с образованием, не то что мы, брат, с тобой — черная кость, до десяти считать выучились... Соображать надо!

— Где нам в лаптях до вас — в калошах, — хмуро откликнулся шедший позади на пару с татариним Овсянников, — рылом не вышли, со скотиной едим, росой умываемся, однако до Берлина дошли, не заплутались по темноте своей деревенской.

Алимжан миролюбиво посмеивался, прицокивал языком, снисходя к спутникам, к их славянской сестрости:

— Зачем много шалтай-болтай, жану Бог дает, какой дает, такой бери, другой нету, живи, пацанов делай...

У пакгауза уже толпилась подходящая очередь, лица в большинстве знакомые, примелькавшиеся в пути, разговоры в этой толчее велись давно говоренные, а оттого и не западавшие в память.

— Так едем, братцы, что пока до этих островов дотянем, пора в отпуск будет, — скалился навстречу им земляк из Торбеевки, щуплый, но осанистый парень с торчащим из-под кепки кудельком льняного чубчика. — Вот и почнем оборачиваться туда-сюда: приехал, отпускные за пазуху и домой — гулять по буфету; пропился — сызнава к вербовщику. И таким манером до самой пенсии, чем не жисть!

— Как же, держи карман шире, — сразу откликнулось из очереди, — много там для тебя отпускных запасли, ноги бы целыми унести, на Курилах этих, говорят, года нет, чтобы без беды прошло: там, говорят, земля на соплях держится, целой сушей в воду уходит.

И пошло:

— Да, мужики, длинный рубель, он кусается!

— За морем телушка — полушка, да перевоз дорог, это верно, только соблазн большой, всякому заработать хочется.

— Сколько ни заработай, в гроб с собой не унесешь.

— Поздно хватились, мужики, подъемные прогуляли, теперь отработывай давай, раньше думать надо было!

— Голова в кустах, чего ж теперь по волосам плакать, все одно не выплачешь ничего...

Весовщик, носатый грек в короткой кожанке, отпуская продукты, плутовато поигрывал торфяного оттенка глазами, раскатывал слова в пухлых губах:

— Гоголев, Иван Семеныч, членов семьи четыре души. — Он небрежно сбрасывал на чашку весов по порядку хлеб, крупу, маргарин, картошку. — Чего пыхтишь, Гоголев, недовес усмотрел? — Кофейные пальцы его лихо скользили по костяшкам счетов. — Картошкой больше, картошкой меньше, подумаешь, какое дело, ни тебе, ни мне! Зато хороший товар имеешь, без обмана, бери, пока не раздумал, я добрый. — И походя отмахиваясь от возможных протестов, торопил: — Следующий!..

Очередь рассасывалась, но загруженный пайковым добром народ не спешил по домам, к эшелону, а большей частью, будто равномерный пунктир для оставших, тянулся к станции, куда его манила гостеприимная толкотня около привокзальных шалманов: душа жаждала хмельного полета и песен.

— Мужики, а мы что, рыжие, что ли! — загорелся вдруг Сергей Тягунов, подаваясь в ту же сторону. — Нам от людей отставать не приходится, у нас тоже понятие есть.

— А чего в самом деле? — вопросительно скосился на Федора Овсянников, — у баб, видно, все одно аврал, зайдем по-людски для душевного разговору, от нас не убавится.

Алимжан вновь прицокнул языком, кивнул с одобрением:

— Зачем шалтай-болтай, сказал и — айда!..

Остальной путь проделали молча, даже с некоторой торжественностью, словно предуготовляя себя к некоему обряду или действию, от которого зависело их ближайшее будущее.

Шалман, куда они завернули, был уже полон; в дыму и пивной сырости голос буфетчицы звучал, будто из-под пола:

— Не толпись, кацапня, всем достанется, успеете нализаться, целый день впереди, дорвались, сиволапые, теперь за уши не оттянешь, покуда до зеленых

чертей не нажретесь... Пей, сколько налили, а то совсем не дам!

Устроились они стараниями того же Тягунова. В крикливой толчее шалмана тот чувствовал себя, как рыба в воде: бесцеремонно растолкав шумный гомон в углу, очистил место у стойки, ввинтился в толчею перед прилавком и вскоре вынырнул оттуда с двумя кружками в каждой руке и бутылкой водки под мышкой:

— Принимай, мужики, харч, только пить из одной посуды придется! — Он выудил из кармана граненый стакан. — Кто как, а я не брезгую, ко мне не прилипнет, кто смелый, тяни первую...

По мере выпивки явь вокруг них расправлялась, голоса в шалмане отдалялись и как бы затихали, предоставляя их самим себе, занятому только ими пространству и понятному только им разговору. Хмель возносил их над дымом и вонью пивной в другой мир и в иные пределы, где безраздельно царил дух сердечной широты, вечной дружбы и мгновенного взаимопонимания. Горние выси открывались им в такой близости, что, казалось, не пройдет и часу, как у них за спиной вырастут легкие крылья, что понесут их над этой грешной землей, с ее городами и весями, светом и тьмой, сибирской магистралью и Курильской грядой. Боже мой, сколько отдохновения таится для страждущей души на дне граненого стакана, если он, конечно, не пуст, а наполнен сивушной влагой!

Среди клятвенных излияний и очередных здравиц, когда уже приспевало время возвращаться домой, перед Федором вдруг выделилось и пошло разрастаться в матовой бледности внезапно заострившееся лицо Тягунова:

— Братцы, — губы его азартно тряслись, шепотно складывая слова, — заяц скребется, беру на мушку. — Он резко нагнулся и одним движением приподнял над стойкой безликого от ужаса парня лет не более

двадцати, держа его за ворот замызганной телогрейки. — По мешкам шаришь, сука! — Он огляделся с нетерпеливым торжеством. — Ворюга, братцы, у рабочего человека тащит. — Народ рядом с ними насто-роженно расступался, образуя круг, и Тягунов бросил парня в этот круг на сырой заплеванный пол и, метая каблуком сапога ему в переносицу, ударил первым. — Получай, гад!

Куда только девалась обычная незлобивость Сергея: все в нем сейчас было перекошено беспамятной яростью, которая, изливаясь на окружающих, вызывала в них ответный азарт. Поэтому, едва из-под тягуновского сапога выдавилась первая кровь, толпа, словно подстегнутая изнутри, мгновенно захлестнулась во-круг лежащего, накрыв его с головой.

— А - а - а - а!..

Федор бросился было туда, в общую кашу, чтобы попытаться остановить, утихомирить, унять это побоище, но лопатистые руки Овсянникова, клещами сдавив ему бока, силою вынесли его наружу:

— Дурной, не видишь, что ли, — не в себе народ, — увещевал он Федора, увлекая прочь от гудящего шалмана, — им сейчас, кто ни попадись под руку, на-смерть забьют и правого, и виноватого, не наше это дело, Федёк, пускай милиция разбирается, она за это деньги получает.

Оттуда, сзади, вдогонку им взвизывал тонкий го-лос Алимжана:

— Зачем, братцы, не по закону его, какой хурда-мурда может быть, его в отделение нада, суд нада давать!..

— Разве с нашим братом по-людски сговоришься, — втолковывал ему по дороге Овсянников, — ни в жизнь! Друг дружке за копейку глотки готовы пере-рвать, а ежели еще и скопом, десятеро на одного, то хлебом не корми, дай отыгратся. Злобой исходим, Федёк, довели народ до белого каления, продыхнуть

не дают, вот он на самом себе и отыгрывается. Не горячись в таких делах, Федя, затопчут...

Когда они возвратились, дневная жизнь эшелона полностью перебралась под открытое небо. Вдоль полотна и придорожной лесополосы, от головного пульмана до хвоста состава курились дымки семейных временок и костерков. Запахи скудного быта растекались окрест, сливаясь с терпким настоем станционной смеси угольного перегара, смолы и мазута.

— Садись, Федёк, наломался, видать, — встретил Федора отец, раздувая огонь под обеденным таганком, — сейчас тебе мать похлебать чего оборудует, подогрею только.

Федор сложил рядом с ним котомки с продуктами, тяжело опустился на теплый дерн придорожного кювета, сказал, с трудом складывая слова:

— Брось, папаня, не утруждайся, мутит меня чтой-то, не до еды, нутро воротит.

И устало отвалился на траву. И закрыл глаза.

## 2

Под вечер, среди наступающих сумерек, у вагона появился Мозговой в сопровождении угрюмого старшины железнодорожной милиции:

— Слушайте сюда, граждане хорошие! — Он выглядел постаревшим, обычно упористый взгляд его затравленно метался по сторонам. — Тягунов арестован за убийство, а Батыев вместе с ним, как соучастник. Семье решать, ехать дальше или оставаться тут, ждать суда. Если остаетесь, выгружай монатки, а дальше поедете, придется со старшиной пройти, допрос с вас сымут, такой порядок.

Старшина раздвинул было брезгливо сомкнутый рот, как бы решаясь заговорить, но затем, вид-

но, передумав, лишь лениво зевнул в кулак и отвернулся.

В воцарившейся тишине сначала спохватилась Наталья.

— Без мужика не поеду, — она по обыкновению тряхнула рыжей копной, — какой ни есть, а мой. — И шагнув к вагону, взялась за скобу двери. — Нам, что собраться, что подпоясаться, всего добра — у калеки в суме уместится.

Едва Наталья исчезла в дверном проеме пульмана, как татарский клан тоже пришел в движение. Батыевы наскоро собрали в кучу вынесенную к обеду посуду, а затем молча, ни на кого не глядя, гуськом потянулись туда же, за вещами. Долго еще потом снился Федору этот высокий полдень в мае, в желтом свечении ее волос, и сквозь него — это свечение — безмолвный проход батыевской поросли. «Спаси нас, Господи, и помилуй».

— Надо же, мать твою перемать, — в сердцах выругался Мозговой, обращаясь почему-то к одному Федору, — говорил ведь, не перепивать, сосать им теперь лапу на лесоповале, если в расход не пойдут...

Но Федор словно окаменел, уже не видя и не слыша того, что происходило следом за этим...

Вызвездило, когда к огню рядом с ним, разворачивая кисет, подсел Овсянников:

- Не прогонишь?
- Места много.
- Кури, бери, Федёк?
- Пропущу.
- Муторно?
- Бывает...

Костерок затухал, пламя сникало, трепетный налет белого пепла оседал на дотлевающих угольях. Темь вокруг сжималась все плотнее и непрогляднее, вязкой стеной отгораживая их от окружающего.



Овсянников не отрываясь смотрел в огонь, попы- хивал самокруткой, изредка сплевывая в огонь:

— Жизнь моя, Федя, давно под уклон пошла. — Отблески сникающего огня поплясывали в его незряче устремленных перед собой глазах. — Всего мне дове- лось увидеть на своем веку: и сумы, и тюрьмы, с вой- ной в придачу. Сидеть бы мне теперь дома, крестьян- скую работу делать, сказки складывать, внуков нян- чить. И куда меня понесло в мои-то годы счастья ис- кать, по свету без толку рыскать! Оно, конечно, волей- неволей, из-за девки, главное: не дадут ить бедолаге житья в деревне, задразнят, со свету сживут, чужой грех всем глаз колет. — Голос у него вдруг обмяк, дрогнул. — Ты не смотри, что тихоня, она у меня с характером, а согрешила-то, я так думаю, от доверия, али от жалости к нашему брату беспутному. — Он бросил окурочек в костерок, проследил, как тот истлева- ет на углях, сплюнул в последний раз и стал подни- маться. — Двинулся русский мужик по чужую землю, добра наживать, а нам бы лучше со своей управиться, в сорном запустении валяется. — И шагнул в ночь: высокий, неловкий, медлительный. — Пора, Федёк, на боковую, до завтрава!..

Шаги его стихли во тьме, оставляя Федора наеди- не с собой и кромешной тишиной вокруг себя. «Вот денек, — с тоскою подумал он, откидываясь на спину, в теплую траву, — врагу не пожелаешь!»

Низкая, в облачных клочьях высь плыла над ним, она незаметно завораживала его и вскоре ему стало мерещиться, что и сам он плывет вместе с нею в ночь, в даль, в неизвестность.

### 3

Когда Федор вернулся в теплушку, на него, с во- просительным ожиданием, воззрилось сразу несколько

пар глаз: никто здесь до его прихода даже не прикорнул. В рассеянном и зыбком свете коптилки знакомые лица плыли к нему навстречу, словно надеясь еще, что он наконец снимет с них тяжесть, приве — — — облегчающей вестью. Но Федору нечего было сообщить им и нечем порадовать, он лишь натужно вздохнул и, ни на кого не глядя, потянулся к себе на нары.

— Поел бы, Федя, — тихо отнеслась к нему мать, — с утра ведь натошак, маковой росинки не пригубил, чего изводиться, мы люди маленькие, законы не нами писаны, не нам и в голову брать.

Федор не ответил, растягиваясь рядом с отцом, но заснуть в эту ночь ему уже было не суждено: входная дверь внезапно откатилась, и в ее проеме на струящемся фоне лунной ночи возникла уверенная фигура Мозгового с полуведерным бидоном в руках:

— Подъем, мужики, объявляю ночной аврал, бабоньки, не пожалейте закуси, мужики пить будут! — Он напористо частил, словно боясь, что его перебьют. — Бражка первый сорт, мать к празднику заваривала, на чистой патоке без обману. — Он взгромоздил бидон на холодную времянку и принялся маятно расхаживать вокруг нее. — Живей, ребята, а то высохнет, в печную тягу уйдет, жалеть придется. — Разливая брагу по сдвинутым перед ним кружкам, он продолжал лихорадочно торопиться: — Тяните, мужики, без стеснения, у меня этого добра от пуза, мало будет, еще достанем, была бы охота, за мной дело не станет...

Но сколько он ни старался, сколько ни раззадоривал сотрапезников, задуманная пьянка не клеилась. Тени недавних спутников еще витали в замкнутом пространстве вагона, сковывая своим незримым присутствием их слова и движения. Каждый из них чувствовал себя, хоть в малой мере, но виновным в случившемся, как если бы сам, едва не попав в беду, спасся за счет другого. Поэтому бессонное застолье походило

скорее на поминки, чем на попойку или дружеское возлияние.

Лишь к самому концу, когда небо в дверном проеме раздвинулось и посветлело, заметно охмелевший Овсянников первым отозвался на многоречивые заходы Мозгового:

— Вот жисть пошла: хошь стой, хошь падай, куда ни кинь — всюду клин, некуда нынче нашему брату податься, из одного хомута вылезешь, в другой запрягут, какая наша доля такая! — Блеклые глаза его напряженно стекленели в хмельной тоске. — Помню, приспособили меня на фронте минером, хотя какой из меня подрывщик, окромя рыбы в Хитровом ничего не глушил, встраешь, бывало, запал в противотанковую, а у самого мысля грешная в голове дразнится: сообразить бы эдакую бонбу, чтобы от ее вся земля в мелкий распыл пошла, до того тошно от жисти этой каторжной!

Тихон, вопрошающе кося в сторону Мозгового, осторожно гудел в тон, поддакивал:

— Чего говорить, выпало нам лиха сверьх завязки, хоть внукам-правнукам занимай, только не нам се-товать, заслужили, значит, своей головой думали — не чужой. — Он с вызовом уставился бельмом в сына, ослабил, поддразнивая. — Нам — дуракам навозным — не привыкать, по Сеньке и шапка, за что боролись на то и напоролись, а вот какого рожна и сынки наши тем же дерьмом утираются, того в толк не возьму...

— Молотишь, папаня, что ни попадя, язык без костей, — вяло огрызнулся Федор, — вы пировали, а у меня голова должна болеть, совесть бы поимел на других похмелье сваливать! — Но вдруг спохватившись, что переборщил, тут же обмяк. — Сам ведь нынче видел, папаня, какие с нами шутки шутят: раз — два и под замок.

Такой оборот темы был Мозговому определенно не по вкусу, он разлил остатки по кружкам и кинулся сводить концы разговора в мирное русло:

— По мне, мужики, чего ни делается, все к лучшему, сунут нашим корешам от силы по пятернику за соучастие, детский срок, плевое дело, день-ночь, сутки прочь, не заметят, как дернут с вещами на выход, зато поумнеют, за одного зэка теперь, говорят, двух беков дают. — Он повернулся было к Федору за поддержкой. — Правильно я говорю, солдат?

Но тому было уже не до него. Явь кружилась перед ним цветной каруселью, и в ней — в этой карусели — он внезапно выделил для себя тихое лицо Любы. Прислонясь к дверному косяку, она отрешенно устремлялась к нему широко распахнутыми глазами, и от этого ее долгого взгляда размякшая душа его еще более оттаивала и смирялась. «И кто ее только такую выдумал, — радостно обмирал он, — без огня светится!»

#### 4

*По росистой траве бежала девушка, девчонка, почти ребенок, держа в руках тряпочные тапочки и размахивая ими в такт своему движению; она бежала, высоко запрокинув голову и жмурясь от солнца; тихое, обрызганное россыпью веснушек лицо ее млело от бега, льняные волосы у нее за спиной тянулись ей вслед, наподобие шлейфа, и ситцевое платье на ней плескалось и стекало к ногам цветастой заматью, — бежала так раскованно и легко, будто не касалась земли, а плыла в воздухе, осиянная безоблачной благодатью, а кругом нее томились в майском соцветии поле и лес, курилась ватным туманцем большая река, исходила в гудках и лязге пропахшая дымным перегаром железная магистраль, но девушке, девочке, полуребенку было ни до чего: сейчас она смотрела*

*только в себя, глядясь лишь в то, что потаенно  
вызревало в ней, росло и, словно побег сквозь твердь,  
упрямо пробивалось к свету.*

*Люба, Любаня, Любовь Николаевна!*

Его мучили старческие немощи. Они навалились на него внезапно, вдруг, как бы из-за угла. Казалось, еще вчера не на что было пожаловаться: он поднимался около полудня в бодрой готовности провести следующие шестнадцать часов в каторжном круговороте встреч, заседаний, телефонных переговоров. Его никогда не покидала уверенность в предназначенном ему долголетии, что укреплялось в нем ходячими легендами о невероятной кавказской живучести. Он скрупулезно собирал сведения обо всех долгожителях на земле, и услужливые писаки, зная эту его слабость, чуть ли не каждый день публиковали в печати соответствующие факты. Всякое открытие в этой области становилось предметом его тщательного изучения. И когда одна бывшая медсестра из околоподпольных девиц, которых, кстати сказать, он всю жизнь недолюбливал за их восторженную болтливость, доказала чудодейственное влияние содовых ванн на омоложение организма, ее, по его приказу, наделили всеми мыслимыми степенями и премиями.

Но однажды утром он проснулся от обморочного сердцебиения. Голова тошнотворно кружилась, в кончиках пальцев зудело и покалывало. В течение дня затем ныло в висках и отчаянно мерзли ноги. С тех пор недомогания не оставляли его: то ни с того, ни с сего изменяло зрение, то в самый неподходящий момент ватно немели конечности, а то вдруг, стоило неловко повернуться, принималось судорожно сводить спину и шею. Не помогали ни содовые ванны по рецепту бывшей медсестры, вырвавшейся с его помощью в медицинские академики, ни умеренность в питье и курении, ни вороватая, втайне от приближен-

ных, гимнастика после сна: он разваливался на глазах у самого себя.

Докторов он не любил и побаивался. И не то что бы его пугала вероятность козней, заговора, злого умысла, — пусть поверженный враг утешается этой версией, тем более, что сам он, поддерживая эту версию, в нужный момент извлекал из нее свою политическую выгоду. К тому же, в жестокой борьбе за лидерство он сумел давно обезвредить свое ближайшее окружение. Медицина претила ему опасностью постороннего проникновения в его потаенную жизнь. Всякий изъян, недостаток, недуг мог сделаться в руках умного противника оружием против него — мало этого, он и сам не имел большой охоты особо просвещаться на этот счет, так ему было проще. Как-то, еще в двадцатых годах, он доверился одному бородачу-невропатологу, тот поставил дурацкий диагноз, проникший в зарубежную прессу, пришлось расхлебывать эту кашу через ГПУ, а потом, дабы надежнее застраховаться, отделяваться и от тех, кто расхлебывал. В докторях он презирал также их неистребимое чистоплюйство, из-за которого у него чуть было не провалилось несколько важнейших политических акций. По его твердому убеждению, лучше было обходиться без них, придерживаясь проверенного временем правила: никого не подпускать к себе ближе, чем это диктуется насущной необходимостью.

За годы внутрипартийных схваток он усвоил спасительный закон дистанции, по которому ближайшее окружение должно было постоянно оставаться на том отдаленном расстоянии, откуда человек видится целиком, без изъянов и слабостей, именно таким, каким пристало ему, по его мнению, выглядеть со стороны. Но он усвоил также и то, что люди склонны скоро привыкать к своему положению, со временем зрение их обостряется, слух делается чутче, откладывая в памяти замеченные светотени. Поэтому через определен-

ные промежутки ему приходилось тщательно выпалывать пространство вокруг себя, чтобы тут же заполнить возникший вакуум новой порослью, свободной от груза истории и опыта.

Взять хотя бы того же Золотарева, которого выудил для него в тихих омутах своей епархии вездесущий Лаврентий: знал, лукавый хитрец, чем ему угодить! Парень сразу расположил к себе: русский, высокий, неловкий в движениях, с почтительным восторгом в васильковых глазах. Не существо — чистый лист бумаги, пиши на нем, что твоей душе угодно, потом стирай и переписывай снова, в соответствии с текущей необходимостью. По сравнению с новичком, старый министр выглядел потеющим бором в белом подворотничке. От них — этих тучных, с вечной одышкой бонз — настала пора избавляться, они уже достигли того рокового предела, за которым появляется опасная привычка к власти, уверенность в себе, известное притупление чувства дистанции, что угрожало сложившемуся порядку взаимоотношений между ними. Победная война с ее неизбежной откровенностью и ослаблением житейских запретов породила в некоторых ложные иллюзии, тщетные ожидания и несбыточные надежды. Структура аппарата нуждалась в коренном обновлении. На смену обреченным должны будут прийти такие вот, вроде этого Золотарева, лишённые клановых предрассудков и чрезмерных поползновений, не люди — глина, из которой он вылепит затем всё, что ему вздумается. Только с ними — дала бы ему судьба еще два-три десятка лет, — этими рослыми парнями с почтительным восторгом в васильковых глазах, он в конце концов поставит мир на колени.

Но торопиться — было его правилом — не следовало. Пусть этот Золотарев немного пообомнется там, на забытых Богом Курилах, проявит себя в самостоятельном деле, хлебнет хозяйского лиха вдали от



кабинетной крепости, а выдержит, тогда можно будет подставить парню для пробы еще ступеньку. Не споткнется — пойдет дальше, до самого предела, пока не наступит и его роковая очередь.

Мысль о Курилах настроила его на отвлеченный лад. Это ведь, подумалось ему, где-то у черта на куличках, где, как мрачно шутил Лаврентий, не ступала нога заключенного: даже на карте они обозначались едва заметной россыпью коричневых брызг среди океанской голубизны. От него внезапно, такое с ним случалось, отлетела явь: он разглядывал себя со стороны, поражаясь, как он мал и незащищен в этом огромном и яростном мире. Ему вдруг захотелось оказаться сейчас где-нибудь далеко-далеко, хотя бы вот на тех Курильских островах, где бы он мог забиться в какую-нибудь нору и, согревшись, сидеть в ней, не видя и не слыша ничего вокруг.

Пусть какой-нибудь одинокий путник, такой же уставший от суеты бедолага, как он сам, постучится в эту его теплую, вроде той, что была у него в курейской ссылке, нору и скажет:

— Пусти меня к себе, человек, мне тяжело одному.

— Входи, — радушно ответит он. — В тесноте — не в обиде, вдвоем веселее.

Путник протиснется к нему и спросит:

— Кто ты, человек, и как тебя зовут?

И тогда, это обычно приберегалось им напоследок, с присущим ему скромным достоинством он тихо и просто ответит:

— Сталин.

«Любопытно, — усмехнулся он про себя, — сразу гостя кондрашка хватит или немного погодя?»

Он даже зажмурился от предвкушения удовольствия, но в то же мгновение память услужливо напомнила ему о недавнем разговоре с экспертами-синологами, которые в числе прочего отметили частые в этих районах колебания морского дна, что сразу вернуло

его к действительности, к делам и заботам быстро-текущего дня.

Под занавес дневного круговорота ему еще предстояло подписать очередной список на изъятие. Документ лежал у него на столе в ожидании последней резолюции. Списков таких за минувшие десять лет он утвердил множество и никогда потом не жалел об этом. В его положении раскладка была проста, как дыхание: или — ты, или — тебя, третьего не дано, поэтому не о чем задумываться. Но на этот раз в аккуратной колонке фамилий значилась землячка, состоявшая с ним в отдаленном родстве. Родство было, правда, дальнее, седьмая вода на киселе, кто в маленькой Грузии кому не родственник, но с этой женщиной, теперь уже наверно старухой, его связывала одна давняя история, полузабытый случай, всплывший сейчас из небытия.

Сколько ей было тогда? Шестнадцать? Семнадцать? Восемнадцать? В последнее время острая когда-то на события и факты память стала ему изменять. Ее провалы год от года становились всё полнее и продолжительнее. Это бесило и мучало его, он пытался записывать возникавшие порою в голове обрывки видений прошлого, чтобы по ним восстановить затем целое, но испытанное вроде средство не помогало, и ему ничего не оставалось, как смириться с возрастной неизбежностью.

Но то августовское утро в старом Тифлисе, когда он метался по глухим лабиринтам Навтлуги, сбивая со следа сыскную погоню, запомнилось так резко, так отчетливо, словно всё это происходило не далее, чем вчера.

В тот день впервые после Великого Ограбления полиция шла по его пятам. Петля оцепления сжималась туже и туже, готовая в любую минуту сомкнуться вокруг него, когда на выходе к конке, где его уже стерег полицейский кордон, между ним и филерами

выпорхнула девочка, эдакое воздушное существо в обрамлении чего-то белого и голубого.

Она, разумеется, мгновенно уловила суть происходящего, замерла и воззрилась на него своими огромными, в пол-лица глазами, полными восхищенного ужаса и решительности. Ее внезапное появление, вызвавшее короткое замешательство филеров, спасло его тогда. Он беспрепятственно проскользнул между ними и проезжавшей мимо конкой, канув на другой стороне улицы в лабиринте проходных дворов.

Но вовсе не благодарность вызывала в нем его теперешнее замешательство: и до, и после нее ему на помощь приходили многие, что не избавило их от уготованной им доли, — а этот вот краткий миг ее восхищенного ужаса и решительности: впервые в его жизни девочка, девушка, женщина одной из самых почтенных грузинских семей, известная всему Тифлису красавица Нателла Амираджиби взглянула на него с такой неподдельной готовностью на всё. И хотя он боялся признаться в этом даже самому себе, но именно тогда, тем августовским утром, в краткий миг их встречи лицом к лицу, он окончательно поверил в себя, в свою звезду, в свое вешее назначение.

Многие годы она избегала участи других, он инстинктивно берег ее как залог, гарантию, патент на предначертанную ему судьбу, но на этот раз настал и ее черед. С годами у нее стал слишком развязываться язык, сказывался, видно, возраст, и не в меру разбухло самомнение, что могло бросить тень на чеканные письма его биографии. Женщину необходимо было убраться, чтобы выправить ситуацию.

К женщинам у него всегда было настороженно-пренебрежительное отношение. Это проявилось еще в детстве, в родном доме, где тихая мать безропотно гнулась перед вечно пьяным отцом. Как всегда, мысль о матери вывела его из равновесия, и всё, что смутно мучило его, что душило с самого отрочества, что по-

рою лишало сна, вновь нахлынуло на него с выжигающей изнутри горечью.

Сколько он помнил себя, в школе, в семинарии, затем в подполье и борьбе за власть, это было его пыткой и проклятием, его Гефсиманией, Страстной Пятницей, Голгофой. Он бежал этого иссушающего душу наваждения в двух своих, оказавшихся, правда, несчастными, женитьбах, в мимолетном разврате, иногда в пьянстве, в сыскных оргиях против вчерашних друзей, но оно — это наваждение — цепко тянулось за ним, преодолевая забвение и время. В конце концов он запер мать в четырех стенах роскошного тифлисского особняка и постарался забыть о ней, не явившись даже на ее похороны, но память не оставила его и после этого. И чем выше он поднимался, чем незыблемее становилась его власть, тем нестерпимее делалась для него давняя ноша. В детстве ему удавалось отбиваться от нее кулаками, в юности — молитвой, в зрелости — службой в охранке, но ничто не в состоянии было задуть в нем мстительного шепота памяти: «Ты сын городской потаскухи, родившей тебя в отместку пьянице-мужу от богатого соседа Реваза Игнатошвили, ты — незаконнорожденный, и твоя мать — блядь!»

«Будь ты проклята, — отмахивался он в сердцах, — думать не хочу, изыди!»

Он знал почти наверняка, что это ложь, что у матери, по горло занятой поденщиной, просто не оставалось времени для себя и своих интересов и что сплетня скорее всего пущена каким-нибудь забулдыгой под пьяную лавочку, в духане, в застольной ссоре с его отцом, но убедить себя в этом до конца так и не смог, а может быть, и не хотел.

Одного за другим он устранил всех, кто хоть окольно мог знать или слышать об этом, но те, в предчувствии гибели, успевали передать этот запасенный на него камушек в очередные руки. И прошлое,

наподобие бумеранга, возвращалось к нему вновь и вновь.

К тому же, еще ходил, еще топтал паркет вокруг него, посверкивая во все стороны фальшивыми стеклышками, бакинский дружок его (именно там, на нарах городского центра, он и поделился — о глупая молодость! — и пооткровенничал с ним на свою голову; кто тогда знал, что окажется дальше!), собутыльник по старческим оргиям, его Малюта, его серый кардинал, которого приблизил он к себе перед самой войной за пыточный опыт и услужливую забывчивость. Ходил в ожидании своего часа, льстивый ворон, чтобы в удобную минуту, вопреки пословице, выклевывать ему глаз, держа в запасе, на самом доньшке темной своей души, этот главный козырь против него. Только не родился еще человек, способный состязаться с ним в искусстве терпеливого ожидания; один немец, не чета прочим, дельный был малый, пытался, но и у него в конце концов ничего не вышло, не выйдет и у этой лисицы в пенсне, сколько бы она ни старалась, ей жить ровно до той поры, пока в ней имеется нужда. И, как бы утверждая себя в этом решении, он, скрипя новыми бурками, подошел к столу, не садясь, размашисто вывел резолюцию в углу листа и нажал кнопку звонка.

На пороге почти мгновенно выявилась тщедушная фигура с пергаментным лицом и, повинувшись еле уловимому знаку его бровей, бесшумно устремилась к столу, но на полпути выжидательно замерла, всем своим видом изображая преданную деловитость и сознание ответственности момента одновременно.

О, как он презирал их всех: и тех, кто еще окружал его, и тех, кого давно уже не было, и этого вот гнома, с собачьей готовностью на пергаментном личике! И вместе, и по отдельности они являли собою ту легко податливую часть человеческой породы, которая при всей своей податливости, а может быть, именно бла-

годаря ей, оказывалась способной на любую гнусность, если эта гнусность обеспечивала им неиссякаемую кормушку и собственную безопасность. Одушевленные издержки естественного отбора: он наугад выуживал их из безликого окружения, умело пользовался ими, а затем без раздумий и сожаления сметал их в небытие.

В списке на столе значилась и жена стоявшего сейчас перед ним гнома в полувоенной паре. Тот еще не знал о случившемся, документ ему занес Лаврентий, минуя секретариат, поэтому, глядя теперь на преданно устремленного в его сторону помощника, он не удержался, чтобы не позлорадствовать про себя: «Любишь кататься, люби и саночки возить, так-то!»

Он молча придвинул к помощнику утвержденный список, тот тенью метнулся к столу, подхватил бумагу и, получив беззвучное позволение, так же тихо, как и вошел, улетучился из кабинета: воплощение такта, быстроты, исполнительности.

Ему не приходилось даже напрягать воображение, чтобы представить себе, что произойдет затем по ту сторону двери, но это его уже не волновало: те, кто переступал черту круга, в центре которого стоял он, должны были научиться платить. Платить каждый день и чем угодно: самолюбием, близкими и, если потребуется, жизнью. Так пусть заплатит и этот, тем более, что для него самого сегодняшняя резолюция означала еще одну, хотя и не столь значительную потерю.

Многолетний навык выработал в нем умение мгновенно оценивать возникавшие ситуации и столь же мгновенно вживаться в них, по ходу действия осваиваясь с деталями. Но то, что произошло в следующую минуту, всё же вызвало у него легкое замешательство.

Массивная, обитая с оборотной стороны дорожкой кожей дверь медленно отворилась, и в ее обнажившем-

ся проеме он увидел стоящего на карачках помощника с только что утвержденным списком в зубах. На карачках же, по-собачьи поскуливая, тот пересек кабинет и, оказавшись на расстоянии протянутой руки от него, встал на колени, истекая преданностью и мольбой.

Но это не пробудило в его душе ничего, кроме угрюмой брезгливости. Он не любил в людях обнаженной слабости, считая каждое ее внешнее проявление признаком внутреннего распада.

«Бабу ему, сукиному сыну, жалко, — мысленно ожесточился он, — а что эта баба уже готова запродаваться любой иностранной разведке, это его не касается!»

Небрежным движением он выдернул у помощника документ и, бегло окинув аккуратную колонку фамилий, вновь сунул бумагу тому в зубы.

Дальнейшее его не интересовало.

Он отвернулся к окну, выключив помощника из сферы своего внимания и памяти. Оставшись наедине с собой, он удовлетворенно потянулся, расстегнул ворот маршальского мундира, к которому после свободного покроя френчей так и не смог привыкнуть, поднялся и, чуть приволакивая левую ногу, не спеша направился в сторону бокового выхода, за дверью которого у него имелась спальная комната со старой железной кроватью под грубым солдатским одеялом.

Тяжело засыпая, он почему-то опять вспомнил о землетрясениях на Курилах и тут же решил, что на следующей неделе вызовет столичных сейсмографов для подробного доклада по этой проблеме.

## 2

С некоторых пор он взял за правило записывать события дня. Сначала записи ограничивались беглым перечислением встреч, разговоров, актуальных фактов

и сведений, но потом, исподволь, они стали обрастать деталями, отступлениями, сносками, постепенно приобретая форму регулярного дневника.

Как-то, перечитав написанное, он убедился, что всё это, собранное вместе, явственно выливается в нечто вроде внутреннего монолога или исповеди, слишком откровенной, чтобы сделаться достоянием историка. Его цинизм простирался лишь до той черты, за которой таилась угроза для него самого. Сказывалось семинарское воспитание: где-то в потаенной глубине души он так и не смог изжить в себе страха перед возможным наказанием. Но, сознавая гремучую опасность своего занятия, он не смог и отказаться от него, даже еще более к нему пристрастился, находя в этом какое-то особое, почти наркотическое удовольствие.

Он записывал всё: мысли, фразы, выражения, которые казались ему удачными; беседы, ситуации, воспоминания, отбирая те из них, что никогда не решился бы высказать вслух. Писал упоенно, легко, раскованно, отбрасывая без жалости слова, какими привык пользоваться в официальном обиходе. Впервые с той давней поры, когда он, по настойчивому совету Ильи Чавчавадзе, оставил юношеское рифмоплетство, его одержимо несло вдоль по листу бумаги.

И хотя ни одна живая душа не могла безнаказанно проникнуть в его жилье или кабинет, он, заканчивая день, всякий раз бережно прятал рукопись в неогороженный шкаф, вмонтированный в стену спальни над его головой, где у него хранились самые заветные его документы: архив Нечаева, состоявший из нескольких сшитых в одну тетрадок, и прощальное письмо второй жены. Там, в стене над изголовьем, они казались ему сохранные.

Но чем объемистее становилась рукопись, тем тревожнее становилось у него на душе. В его голове вдруг стали возникать самые фантастические предпо-



ложения ее возможной пропажи: во время одной из его кратковременных отлучек или болезни, случайного пожара, умышленного поджога, сна, забытья, удара, когда записи могли если не украсть, то, по крайней мере, сфотокопировать, как это делалось во многих известных ему кинодетективах. Чаще всего преследовало именно это: застигнутый параличом врасплох, он лежит беспомощный, неподвижный, глядя, как подлый некто, может быть, из самых близких, с наглой усмешкой опустошает заветный тайник у него на глазах. В особенности бесила, доводя до иступления, эта вот вызывающая усмешка негодяя.

Сегодня привязчивое видение изводило его с самого утра. Он пытался избыть муку в бесцельной ходьбе по кабинету, в телефонных разговорах, в чтении деловых бумаг наконец, но вязкая фата-моргана по-прежнему не оставляла его, иссушающе выматывая душу.

К концу дня пытка сделалась почти нестерпимой. И тогда он всё же решил прибегнуть к средству, от которого до сих пор отказывался, приучив себя не доверять до конца никогда и никому. Но прежде чем вызвать помощника для вынужденного разговора, он включил магнитофонную запись: на всякий случай соглашение должно быть зафиксировано.

Тот появился на пороге чуть ли не одновременно со звонком — как всегда, вытянутый в чуткую струнку, докладная папочка в руке прижата к боку, наглядно демонстрируя высшую степень постоянной готовности.

— Иосиф Виссарионович, — еле слышно прошелестело с порога. — Слушаюсь.

— Вот что, голова, — подступаясь к делу, он еще угнетался сомнением, тянул время, прицеливался, — слушай меня внимательно. Там у меня, — он слегка повел взглядом в сторону смежной комнаты, — есть кое-что. Понимаешь?

У того мгновенно напряглись глаза, кадык на тонкой шее судорожно дернулся, туловище подобралось и вытянулось: казалось, помощник приготовился взлететь по малейшему его знаку.

— Понимаю, товарищ Сталин. — Слова уже не звучали, а невесомо слетали с губ. — Слушаюсь.

— В случае чего, уничтожить. — Выговорив главное, он облегченно обмяк, откинулся на спинку кресла. — Понимаешь? Ключ у тебя есть, храни, как зеницу ока. Ни Лаврентию, никому ни-ни. Чуть что, сразу жги. — На этот раз молчание помощника было красноречивее всяких слов: соглашение состоялось, стороны проникались сопереживанием значительности момента. — Что еще у тебя?

— Вы заказывали справку по Курилам, Иосиф Виссарионович. — Помощник еще вибрировал, усваивая только что услышанное, рука с протянутой к столу папочкой слегка подрагивала. — Здесь она.

Действительно, после недавнего разговора с синологами и специалистами по Дальнему Востоку он потребовал сжатый обзор самой необходимой информации по этой проблеме, ибо не любил подробностей, мешавших ему видеть вещи в целом, без балласта обстоятельств и околичностей. Он даже приказал до предела сократить всеобщую энциклопедию, считая издание Брокгауза и Эфрона слишком обременительным для усвоения.

Знакомясь сейчас с доставленной справкой, он лишь убеждался в своей правоте. То, на что ушло почти два битых часа гипотез, статистики, доказательств, было изложено здесь с лапидарной точностью всего на одной веленовой полустраничке:

«ЦУНАМИ — волны, возникающие на поверхности океана в результате сильных подземных землетрясений. Скорость распространения цунами от 400 до 500 км/час. Высота

волн у прибрежных скал и в узких устьевых частях речных долин достигает 15-30 м. Обрушиваясь на низкий берег, цунами может проникать далеко на сушу и причинять большие разрушения. Большой частью цунами наблюдается у берегов Тихого океана».

— Ладно. Что еще?

— Звонила Светлана Иосифовна, — помощник пя-  
тая уже отступал к двери, — когда она может вас  
увидеть?

Напоминание о дочери вновь озаботило его, воз-  
вращая к повседневным неприятностям. Он по-своему  
любил эту угловатую девочку с неизменной тенью  
улыбки на продолговатом лице, баловал как умел, из-  
далека следил за ее развитием, но, к его досаде, с воз-  
растом у нее стал заметно проявляться характер ее  
матери: душевная неустойчивость, склонность к из-  
лишнему общению, глубоко затаенное упрямство. К  
тому же, в последнее время он заметил, что она скры-  
вает какую-то очень существенную и недоступную ему  
часть своей жизни, и это было особенно нестерпимо.  
«Лучше бы уж ей, — сетовал он про себя, — купе-  
чествовать, вроде братца, — по крайней мере, всё  
на виду!»

И потом, эта необъяснимая тяга к евреям! Они,  
как доносил Лаврентий, вились вокруг нее целыми ста-  
ями. Из них она выбирала себе друзей и провожатых,  
с ними проводила свободные часы, среди них выбрала  
своего первого поклонника, от которого пришлось из-  
бавляться с помощью того же Лаврентия. Со вторым  
тоже обошлось не без хлопот, хоть ей и это не пошло  
впрок, только слезливости прибавилось.

С этим народцем у него были особые счёты. В  
молодости он мало обращал на них внимания, при-  
нимал как неизбежное зло или досадную издержку  
всякого рискованного дела. Но с годами его отноше-  
ние к ним уверенно менялось. Чем выше он подни-  
мался, тем чаще приходилось с ними сталкиваться,

каждый раз раздражаясь сквозящим в них снисходительным высокомерием. В конце концов он возненавидел в них всё: привычку по любому поводу или без повода сыпать цитатами, свойственную им внимательность к мелочам, самомнение, даже небрежность в одежде, граничащую с неряшливостью.

Он никогда не мог простить им иронических улыбочек во время его выступлений, заносчивых реплик из зала, многозначительных смешков у себя за спиной. Одно лишь воспоминание об этом ввергало его в тихое исступление. «Болтуны несчастные, — внутренне трясся он, — пархатая сволочь!»

В нем всплыло вдруг давнее, радековское: — У нас со Сталиным расхождения по аграрному вопросу: я хочу, чтобы в земле лежал он, а он хочет наоборот.

«Болтун, талмудист вшивый! Вздумал перехитрить самого Сталина! Только не родился еще тот человек, у которого бы это получилось! Поди теперь, изучай аграрный вопрос в преисподней, теоретик х..!»

Им, этим трепачам от марксизма, и в голову не приходило, что, кроме науки словесных перепалок, которой они упивались, словно глухари, существует еще куда более насущная для политика наука командовать, управлять, властвовать, что в этой-то науке он, в отличие от них, плавает, как рыба в воде, и здесь любой из них по сравнению с ним просто слепой шенок. В полном согласии с его сценарием они в конце концов передушили друг друга собственными руками.

Но даже те, что остались, служа ему не за страх, а за совесть, продолжали раздражать его своим рвением, услужливой эластичностью, вязким гостеприимством. Взять хоть того же Мехлиса: суетливая, готовая на всё балаболка. И чего только нашла его дочь в этом пустом и хлопотливом народце?..

— Всё?

— Так точно, Иосиф Виссарионович.

— Успеет, — отмахнулся он и, снисходя, обласкал. — Ну, что ходишь, как в воду опущенный? Бабу забыть не можешь? Дрянь твоя баба, враг, изменница. Мало ли у нас других, настоящих советских женщин? Будет тебе жена, я тебе гарантирую. Иди...

Возвращаясь к прерванному размышлению, он вновь, в который раз за последние дни, подумал о Золотарева. «Таких вот надо выдвигать, не испорченных теоретической болтовней. — Ему вспомнилось, с каким нескрываемым обожанием въедался в него своими васильковыми глазами этот русоволосый детина. — Гнать, гнать пархатых трепачей вместе с толстыми боровами, вроде рыбного министра. С такими, как этот синеглазый туляк, куда надежнее. Справится с Курилами — дать ему министерство».

Ближе к ночи его принялась одолевать усталость: сказывался возраст. Он обессиленно прикрыл веки, и ни с того, ни с сего ему пригрезился вечер в Бакинской тюрьме, перед вторым побегом.

Тогда, помнится, он с утра резался в очко с камерной головкой из местного ворья. Карта к нему шла счастливая, от козырей в глазах рябило, он снимал банк за банком, и когда наконец партнеры выпотрошились вчистую, один из них, знаменитый городской налетчик Самед Багиров, срывая зло, блеснул в его сторону откровенной издевкой:

— Скажи, Сосо, правду говорят, что ты осетинский еврей, уж больно тебе везет?

Дорого потом обошлась смельчаку в сердцах оброненная шуточка, но тогда, в тот душный вечер, под перекрестной пыткой нескольких пар глаз, ему стоило немалого труда и выдержки смирить себя и не броситься на обидчика.

Даже сейчас, в свинцовой полудреме, подспудно сознавая нереальность случайного видения, он при одном воспоминании об этом на мгновение обморочно захлебнулся от бешенства...

— Скажи, Сосо, правду говорят, что ты осетинский еврей, уж больно тебе везет?..

С этой ненавистной дразнилкой в памяти он и забылся до следующего полудня.

### 3

— Ну как, опомнился, пришел в себя? — Он поднял на помощника тяжелые глаза: тот стоял перед ним, как всегда, чуть сбоку от стола, глядя на него с услужливой готовностью. — Ты думал, партия оставит тебя в трудный час, а партия о тебе, как видишь, не забыла, партия нашла тебе настоящую советскую женщину, товарища, подругу. Живи теперь с ней и радуйся, такая не продаст, не предаст, не обманет, а главное, язык за зубами умеет держать. — Он даже не старался скрыть издевки. — Она за это ха-ароший оклад получает. Доволен?

— Спасибо, дорогой Иосиф Виссарионович. Ваше слово для меня — закон. — Тот в явном волнении переступил с ноги на ногу, судорожно сглотнул, веки было опустились, но тут же вновь испуганно вздернулись вверх. — Я — солдат партии, ваш солдат, товарищ Сталин.

Он-то доподлинно знал, что творится сейчас на душе у стоявшего перед ним пергаментного истукана: арестованную жену свою тот обожал, об этом ему было доложено давно и со всякими пикантными подробностями, он, грешным делом, любил именно эти подробности, но тем круче укреплялась в нем уверенность в правоте принятого им и уже осуществленного решения. «Баба с возу — кобыле легче, — не удержался, чтобы не позлорадствовать, он, — а то совсем в подолах запутаемся, не она — первая, не она — последняя!»

Ему вдруг вспомнилась, и он, как всегда в таких случаях, на короткий миг внутренне обомлел, его первая женитьба, когда сам поддался своей первой в жизни слабости, которая, впрочем, оказалась и последней: «Зачем я только тебя встретил на свою голову! — В эту минуту, изнывая душою, он презирал самого себя. — Зачем ты ходишь за мной по пятам, Кеке!»

Это было так неправдоподобно давно, что с высоты его теперешнего положения и времени казалось ему призрачным наваждением. Он бы даже не мог теперь сказать с уверенностью, любил ли он ее. Те поры отложили в нем, в его душе, в его сознании не образ отдельного человека или цельного события, а скорее всего острое ощущение провальной потери. От нее же самой, от Кеке, в памяти остались лишь отсвет сиявшего в ней умиротворения да слова песни, которую она обычно напевала перед сном.

С нею у него из жизни ушла первая и последняя его привязанность, после чего он окончательно оглох сердцем и словно бы одеревенел. Даже воспоминания о той поре вызывали в нем мутное остервенение. Сына от этого брака, самым своим существованием напоминавшего ему прошлое, он терпеть не мог и поэтому без сожаления поступился им, когда пришлось выбирать между политикой и отцовством.

Еще на ее похоронах он дал себе слово отсечь от себя все, что отныне могло помешать ему оседлать собственную судьбу. Помнится, встретив друга детства и тезку — Сосо Ирамишвили, ставшего к тому времени из-за раскола партии его политическим противником — меньшевиком (хотя уже тогда ему были глубоко безразличны и те, и другие), он так и определил свое состояние:

— Знаешь, Сосо, только она еще умела смягчать меня. Теперь мне никого не жаль, теперь мое сердце из камня.

Все это мгновенно пронеслось в нем, и, злясь на себя за летучее это слабодушие, он буркнул куда-то в стол перед собою, а затем в сторону от стола, в окно:

— Ну что там у тебя еще?.. Только короче.

— Вы приказывали доставить из музея оригинал поэмы Горького с вашей резолюцией. — Помощник с почтительной осторожностью положил на край стола пожелтевшую от времени рукопись. — Прошу вас, Иосиф Виссарионович...

Ах, эта дурацкая история! В свое время, в одном из застолий у Горького на Никитской, где слезливый романист изводил гостей своей поэмкой про девушку, для которой в награду за любовную верность смерть щадит ее парня, он, обхаживая капризного, но необходимого ему тогда старика, начертал у того прямо на рукописи: «Эта штука посильнее чем «Фауст» Гете. Любовь побеждает смерть». Начертал и вскоре забыл об этом, мало ли какой чепухи ни приходилось ему писать ради сиюминутной пользы дела! Но как-то на одном из «мальчишников», которые он по старой довоенной памяти еще изредка устраивал у себя на даче, покойный Лешка Толстой, в промежутках между двумя сальными анекдотами, рассказал ему (знал, чем потрафить благодетелю титулованный льстец!) курьезный случай с одним сообразительным литературоведом, который состряпал и защитил докторскую диссертацию по поводу отсутствия в его резолюции запятой перед словом «чем». Хитрец, со ссылками на классиков и экскурсами в тайны языковой семантики, доказывал, что «великий вождь всех времен и народов», выпустив эту злополучную запятую, совершил революцию в современной пунктуации. Вскоре он было забыл об этом, но на днях, подписывая постановление о сооружении памятника незадачливому классику, вновь вспомнил и приказал доставить ему оригинал. Боже мой, сколько их развелось за последние годы, этих услужливых прохиндеев, готовых заложить душу



дьяволу и доказать все, что угодно, в обмен на хлебное место в его орбите!

— Ладно, оставь, — брезгливо поморщился он. — Что еще?

— Патриарх в приемной, Иосиф Виссарионович, — понимающе подобрался тот. — Вы назначили на два тридцать. Сейчас, — он мельком, с предупредительной цепкостью взглянул на часы, — ровно четырнадцать двадцать девять.

— Зови. — Но тут же передумал. — Хотя, погоди, я сам. — Он с усилием поднялся из-за стола и, по-прежнему слегка приволакивая больную ногу, двинулся к двери. — Так и быть, гора пойдет к Магомету, надо. — Властно распахнул дверь, шагнул в тамбур, толкнул еще одну дверь впереди себя и, снова отступив в кабинет, сделал широкий жест.

— Прошу, владыка!

Пусть ценит лукавый поляк его забывчивость и великодушие! Прежде чем санкционировать возложение на этого захудалого монаха всероссийской митры, он внимательно изучил дело гражданина Симанского Сергея Владимировича, из бывших дворян, тысяча восемьсот семьдесят седьмого года рождения, уроженца города Петербурга, священнослужителя, без определенных занятий, и, с облегчением убедившись, что антигосударственных грехов у вышеозначенного гражданина хватило бы на три высших меры и на добрый десяток полновесных лагерных четвертаков, дал свое «добро»: он предпочитал иметь дело с закоренелыми грешниками, он знал, чего от них ждать, и с ними было легче управляться.

Патриарх почтительно прошуршал мимо него новенькой сатиновой рясой и, сделав несколько шагов в глубь кабинета, остановился в нерешительности, вполоборота к хозяину:

— Здравствуйте, товарищ Сталин! — Слово «товарищ» он подчеркнуто выделил. — Куда прикажете?

— Поближе, поближе, владыка. — Движением бровей он указал помощнику на выход, после чего тот мгновенно улетучился, затем обволакивающим жестом полуобнял гостя за талию, довел его до стола, где отодвинул перед ним ближайший к себе стул. — Прошу вас, владыка. — И только усадив патриарха, обогнул его и снова, с шутливым кряхтением опустился в кресло. — Стареем, владыка, стареем.

— Что вы, что вы, товарищ Сталин! — суетливо зашепел тот. — Вам еще жить и жить на благо отечеству и народу, русская церковь каждодневно молится за вас!

«Эх, поп, поп, и ты туда же, — лениво усмехнулся он про себя, — не боишься, не гнушаешься, сукин сын, путей неправедных, тешишь себя, что ради Церкви лукавишь, ради паствы, что простит Господь твои мирские прегрешения во Имя Его. Думаешь, что она — Церковь твоя, — все еще на камне стоит, а под ней уже давно — песок, когда понадобится, дуну — следа не останется, недорезанный шляхтич в рясе!»

А вслух сказал, как бы отмахиваясь от докучливой лести, с усталой откровенностью:

— Все там будем, владыка, все там будем. — И сразу, почти без перехода. — Лучше расскажите о своих нуждах, владыка, постараемся разобраться и по возможности помочь.

Разумеется, он заранее знал, о чем пойдет речь. Секретариат готовил для него подробную справку по каждой встрече: ему нравилось удивлять собеседника профессиональной осведомленностью. Поэтому он почти не слушал патриарха, отмечая про себя лишь внезапные неожиданности, которые могли пригодиться в заключение, когда возникнет необходимость блеснуть перед гостем своей прославленной памятью.

Он отрешенно глядел на чуть одутловатое, апоплексически лоснящееся лицо гостя и почему-то пытался представить себя на его месте, мысленно приме-

ривая к себе сатиновую, с иголки, рясу с золотым нагрудным крестом посредине, белый клубок, янтарные четки у запястья. «Увидела бы меня в этой хламиде мать-покойница! — Одна мысль о такой возможности привела его в веселое расположение духа. — Вот было бы радости для старухи, она ведь только и мечтала об этом!»

В душе он часто подтрунивал над своим семинарским прошлым, но иногда, в минуты полного и неизбывного одиночества, его вдруг настигала какая-то необъяснимая, но удушливая тоска, от которой у него тягостно ныло сердце и холодели ноги, а в памяти всплывал изможденный облик отца Сандро, преподававшего у них в семинарии старославянский, с укоряюще воздетым над ним костистым пальцем:

— Гореть тебе, Джугашвили, в адском огне из-за твоей гордыни, помяни мое слово!..

Может быть, именно по этой причине он не отказывал себе в поблажке время от времени призывать патриарха для отвлеченных собеседований и чаепитий. Сегодня это оказывалось тем более кстати, что у него действительно было к тому небольшое дело. Занимаясь в последние дни Курилами, он вдруг, неожиданно для самого себя, озаботился открыть там православный приход: без этого последнего штриха структуре новой власти на островах не доставало, как ему казалось, законченной основательности. Дело могло бы устроиться простым телефонным звонком по инстанциям, тем не менее, он решил воспользоваться предложением для личной встречи, но сейчас, вяло выслушивая вкрадчивые сетования гостя, уже жалел об этом.

— Хорошо, владыка, я разберусь. — Он вновь не поленился подняться, выйти из-за стола и проделать всю церемонию в обратном порядке — от стола к двери. — Почаще надо видеться, владыка, почаще, но, как гласит старая русская пословица, — рад бы в рай, да грехи не пускают. Дела, дела, дела, голова кругом,

вздохнуть некогда. — Уже у самого выхода, распахнув перед гостем дверь, он вдруг, как бы спохватываясь, легонько, кончиками пальцев коснулся лба. — Да, владыка, чуть было не запамятовал: хотел просить вас открыть приход на Курилах, мы теперь туда народ направляем, целыми семьями едут, надо бы о стариках позаботиться, их в кино калачом не заманишь, они за свою веру крепко держатся, неплохо бы уважить...

Патриарх растерянно обмяк, но тут же опомнился, слегка согнувшись в почтительном поклоне:

— Как вам будет угодно, товарищ Сталин. — И уже смелея, с искренней признательностью: — Благодарствую, Иосиф Виссарионович.

Проводив гостя, он сразу же угрюмо погас, внутренне отяжелел и нахмурился: «Чёрт бы его побрал, этого попа, только время отнял!» Вернувшись на место, он долго смотрел в пространство перед собой, стараясь собрать воедино события убывающего дня, но так и не сосредоточившись, резким движением придвинул к себе доставленную ему из музея рукопись и, обмакнув перо в чернильницу, вывел на ней перед словом «чем» жирную запятую.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Сон Золотарева

#### 1

Вместе с Золотаревым в самолете оказались трое подвыпивших летчиков, отбывающих, судя по разговору, к месту службы из первого послевоенного отпуска.

Один из них — с тонким, почти девичьим лицом капитан, — возбужденно поводя вокруг себя блаженно сияющими глазами, осыпал собеседников радужными воспоминаниями:

— Чистокровная цыганочка, девятнадцать лет, сложена, как статуэтка, все умеет, где только выучилась, такое показывала, с ума сойти. — Он даже зажмурился от одолевавших его чувств. — Мать, говорит, воровка, по магазинам промышляет, а она сама с пятнадцати по рукам пошла, но разденется, есть на что посмотреть! Эх, Рита, Рита, век не забыть!..

Вскоре Золотарева укачало: сказывались тревожные дни и бессонная ночь затем. И в сонном забытьи примерещилась ему давняя весна тридцать шестого года в ее пугающе четких подробностях...

#### 2

Райком комсомола, где он тогда был инструктором по работе с сельской молодежью, размещался в деревянном флигельке во дворе Управления дистанции пути местного железнодорожного узла. С утра до позднего вечера тесная коробка разгороженного на несколько клетушек помещения сотрясалась от телефонных звонков, дверного стука и людской переключки.

Начальство вызывало к себе без излишних церемоний, простым стуком в смежную стену. Нравы еще царили запанибратские, оброставшие возрастным жирком вожаки инстинктивно старались растянуть казавшуюся им бесшабашной молодость, но время брало свое: телефонные звонки становились короче, дверной стук глуше, голоса посетителей почтительнее.

Когда однажды секретарь по оргработе Миша Богат, как обычно, требовательно постучал к нему в стену, он не придавал этому особого значения: очередной вызов в ежедневной текучке, но едва войдя в клетушку по соседству, понял, что разговор здесь предстоит непростой и долгий.

Сбоку от Богата, небрежно облокотясь на его стол, сидел хмурого вида черноволосый парень в форме лейтенанта войск НКВД. Парень был завидно красив: смоляной чуб на самые глаза, точеный нос с чуть заметной горбинкой, ямочка на крутом, иссиня выбритом подбородке, но в броском, будто вылепленном на заказ облике его проглядывалась какая-то, раз и навсегда застывшая злость, которая с первого же взгляда невольно в нем настораживала. Казалось, что, однажды на что-то рассердившись, он так и не смог затем смягчиться или успокоиться.

— Вот знакомься, товарищ Алимущкин, из органов. — Богат из всех сил старался выглядеть деловито спокойным, мол, встреча, как встреча, разговор, мол, как разговор, но это ему плохо удавалось, голос его срывался на хрип, влажные глаза затравленно помаргивали из-под очков: само появление такого гостя в райкоме таило в себе намек и угрозу. — У товарища к тебе дело. Заранее предупреждаю, Золотарев, райком — за. Я вас покину, — он нерешительно поднялся, ожидая, видно, возражений со стороны гостя, но тот и глазом не повел, оставляя хозяину самому выходить из положения, — располагайтесь, мне все равно на исполком идти...

И без того щуплая фигурка Миши на пути от стола к двери словно усыхала в размерах, и когда с порога, перед тем, как выйти, он в последний раз обернулся к ним, на него жалко было смотреть: в полувоенном френче, который сидел на нем торчком во все стороны, со всклокоченной головой он выглядел загнанным в угол шенком на привязи. С этой обреченностью в опавшем лице он и канул за дверью.

— Дело у меня к тебе, Золотарев, боевое. — Он мрачновато усмехнулся — то ли вслед вышедшему Богату, то ли в предвкушении обещанного разговора. — Работник ты опытный, чутье у тебя разборчивое, с людьми работать умеешь, есть мнение, что справишься. Семнадцатый разъезд знаешь?..

Только сейчас, глядя на гостя, Золотарев вспомнил, что уже мимоходом сталкивался с ним, вернее, с этой вот его мрачноватой усмешечкой, среди калейдоскопа разных районных кулуаров. Силясь припомнить подробности, он опять-таки восстанавливал в себе лишь эту его усмешечку, от которой в нем всякий раз холодело и обрывалось сердце. Слушая парня, Золотарев старался не упускать деталей: любая мелочь в его положении могла оказаться для него и роковой, и счастливой, смотря по обстоятельствам...

— ...Там нынче стройотряд стоит, народец собрался — один к одному, пробы ставить негде, рыбаки по сухому, охотники на безлесье, тяжелее туза и вальта не держали ни зиму, ни лето, деклассированный элемент, в общем. Двенадцать гавриков с бабой впридачу. Баба тоже — пальца в рот не клади, прошла огни и воды, и на выселении была, и за совращение привлекалась. За бригадира у них там тронутый один, из принципиальных, Иван Хохлушкин фамилия. Раньше плотничать ходил по деревням, мужик головастый, только мозги набекрень и язык длинный. Разводит там демагогию насчет всеобщей справедливости, разagitировал своих дуболомов, коммуной живут, все

общее, баба, вроде, тоже общая. Организацией пахнет, с уклоном в контрреволюцию, пришла пора пресекать. Есть мнение — послать тебя туда для воспитательной работы, вроде как Фурманова к Чапаеву, а если похорошему не образумятся, ликвидируем, как социально опасных. Понял?

— Когда приступать?

— Сейчас и двинемся, чего прохладяться, барахлишко потом заберешь, авось недалеко...

Вскоре райкомовская дрезина уносила их сквозь безлесый простор приокской равнины в сторону Ельца. Последний снег только что сошел с полей, обнаженная земля облегченно дымилась, источая накопленное за зиму тепло. Над редкими островками подслеповатых деревень сизой паутиной тянулся печной дым, сквозь который смутно просвечивала прозелень обнаженных крыш. По разбухшим щитам вдоль пути сосредоточенно скакали взъерошенные галки, высматривая вокруг оживающую добычу. Ветреная весна обдувала мир от зимней шелухи и наледи.

Сидя напротив Золотарева, лейтенант, мрачно-вато посверливая его бесовским глазом, наставлял:

— Ты, брат, ко всему присматривайся, ничего не упускай, в таком деле каждая мелочь может на след навести. Есть сигнал: к ним там один бродяга похаживает, вроде как сводным братом ихнему чудаку приходится, тихую агитацию разводит, насчет всемирного братства и равенства рассусоливает. В общем анархия вперемешку с поповщиной, прикрывать эту лавочку пора, только надо наверняка действовать. — Он достал из нагрудного кармана портсигар, выпростал оттуда папиросу и, разминая ее между пальцев, впервые скользнул взглядом в сторону. — Между прочим, я этого мудилу-мученика знаю, как облупленного, в школе вместе учились, головастый пацан был, всегда в круглых отличниках числился, бывало, только-только на арифметике считать начнешь, а у него уже готово,



все с его тетради списывали. И говорить большой мастер, наговорит тебе сто верст до небес и все лесом, только уши развешивай. Далеко мог пойти, одна дурь мешает, вбил себе в голову чёрт-те чего! — Дрезина резко сбавила ход, они по инерции качнулись друг к другу, и в короткий миг этого их невольного сближения Золотарева удушливо обожгла искра затаенной издевки где-то в самой глубине его горячечных глаз. — Только мы тоже не пальцем сделаны, мозги вправлять умеем, а если не очухается, пусть на себя пеняет. — Дрезина плавно вкатилась в короткий тупичок и замерла впритык к торцу товарного пульмана. — Вылезай, приехали, Золотарев, и — ушки на макушке...

После спертой духоты тесной кабины дыхание перехватило холодящим настоем ранней весны. Тупичок тянулся вдоль куцей лесополосы, упираясь в крошечный пруд или, вернее, придорожную низинку, заполненную талой водой, за которой в сизой дымке близкого горизонта маячили терриконы окрестных шахт. И над всем этим царила волглая тишина, оглашаемая лишь резкой галочьей перекличкой.

— Вот она — малина хренова. — Они двинулись вдоль сплотки из трех приспособленных под жилье четырехосных пульманов. — Окопались — лучше некуда, никакой смолой не выкуришь, только не таких выкуривали, найдем и для этих снадобье...

Перед самым упором тупичка навстречу им, медленно поднимаясь над спуском, выявилась женская фигура с тазом в руках, полным отжатого белья. И чем ближе, чем явственней определялась она перед ними, тем учащеннее становилось колотье в горле Золотарева. Едва ли в ее пригашенном бесформенной робой облике можно было выделить что-либо приметное, если бы не огненно-рыжая прядь, свисавшая у нее из-под платка, которая окрашивала все в ней каким-то особым своеобразием.

— Здравствуйте. — Не доходя до них, слегка поклонилась она: слово прозвучало тихо, просто, без вызова. — Вы к Ивану Осиповичу? — Не ожидая ответа, она поставила таз на тупичковый холмик и с готовностью заторопилась. — Вы заходите, погрейтесь в теплушке, а я за ним на путя сбегая, здесь — рядом, сейчас будет.

Проходя мимо, она машинально взглянула на них, и от этого беглого и словно невидящего взгляда Золотарев снова поперхнулся. «Надо же! — головокружительно пронеслось в нем. — Это надо же!»

— Видал кралю? — провожая ее оценивающим взглядом, хмыкнул Алимущкин. — Поглядеть, тихоня-тихоней, только в тихом омуте черти водятся: у нее две судимости позади, не считая приводов. — Он лихо сплюнул в сторону, начальственно кивнул Золотареву. — Айда к печке, комсомол, что, едрена мать, в самом деле, на ветру мерзнуть!..

В скудном убранстве теплушки чувствовалась старательная женская рука: все было тщательно выскоблено, каждая вещь, предмет, мелочь занимали свое, строго определенное место, а вышитые мелким крестиком марлевые занавески на окнах и такой же полог, глухо отделявший угловую часть вагона от остального помещения, выглядели даже нарядно. Железная времянка, на которой стоял укутанный в байковое одеяло чугунок, еще источала легкое тепло. Пахло стиркой, постной стряпней, перегоревшим углем.

— Садись, Золотарев, закуривай, — он по-хозяйски, небрежным движением снял и швырнул фуражку на раскладной стол сбоку от себя, — в ногах правды нет. — Укрепленный вплотную к столу топчан натужно заскрипел под ним. — Что увидишь, что услышишь, на ус мотай, только чур не записывать, все в голове держи, так-то оно вернее. Раза два на неделе заглядывай, авось не за горами, докладывай обстановку...

Раздался уверенный стук в дверь и вместе с ним — с этим стуком, — там, снаружи, обозначился голос: чуть глуховатый, но тоже — уверенный:

— Можно? — И следом, уже с порога, впуская в теплушку холод убывающего дня: — Здравствуйте.

Его можно было принять за кого угодно — передетого в ветхую спецовку конторщика, путейца, учителя, но только не за дорожного трудягу. Все в нем — молодежовое, но несколько изможденное лицо в обрамлении белокурых волос, мословатая при умеренной сутулости фигура, манера держаться с уважительной к окружающим независимостью — предполагало склонность скорее к умственным занятиям, нежели к черной работе. И лишь заскорузлые, с въевшейся в кожу ржавчиной руки обличали в госте человека, давно занятого тяжелым физическим трудом.

— Садись, хозяин, гостем будешь. — Спутник Золотарева явно заискивал перед бывшим товарищем, хотя и старался при этом выдержать начальственный тон. — Вот, Иван, комиссара к тебе привез на подмогу, зашиваешься ты тут один без политпросвета. Рекомендую: Золотарев, Илья Никанорыч, не шалай-валяй, кадровый товарищ, такие нынче на дороге не валяются, руководство о тебе заботу имеет, думаю, сработаетесь без притирки. — Он беспокойно елозил задом по топчану и все посматривал, посматривал со значением на Золотарева. — Так сказать, смычка коммунистов и беспартийных...

Тот неторопливо опустился на скамью спиной к столу, оказавшись между лейтенантом и Золотаревым, аккуратно сложил рукавицы рядом с собою, сцепил корявые руки у себя на коленях, заговорил размеренно, со вкусом расставляя слова:

— Спасибо. Хороший человек никогда не помешает. Правда, с жильем у нас туговато, да, как говорится, в тесноте — не в обиде. Тут вот и поместим, а я к ребятам переберусь, мне даже сподручнее вместе со

всеми. Так что устраивайся, дорогой, не стесняйся. Только есть из общего котла придется, у нас тут все по-братски... Ну что там в Узловой нового, Дмитрий Власыч?..

Рассказ Алимущкина состоял из жеванных-пережеванных в городе толков о том, кто еще арестован, кого куда переместили по должности, какие пересуды идут в депо и в дистанции пути. Золотарев слушал его вполуха, с опасливым ожиданием поглядывая в сторону двери. Вскоре в тишине, царившей снаружи, прорезались отдаленные, но все нараставшие голоса, затем сквозь оживленный говор, где-то совсем рядом, чуть ли не за стеной выплеснулся, жарко сдавлив ему дыхание, снисходительный женский смешок:

— Наломались, работнички? Сейчас накормлю, чем Бог послал и что на складе давали, навару немного, зато от пуза.

Вместо ответа чей-то хрипловатый тенорок рассыпался с дурашливым вызовом:

— На горе стоит машина,

Тормоза меняются.

Там крупина за крупиной

С вилами гоняются... Тащи, Маша, свои разносолы, а то брюхо к спине присохло!

Сразу за этим в просвете почти бесшумно отворившейся двери возникло ее смеющееся лицо:

— Не обессудьте, чуток помешаю. — Она уже скоро хлопотала вокруг времянки. — Накормить ребят надо, голодные.

Алимущкин искоса, с нескрываемой подозрительностью взглянул на нее и тут же поднялся:

— Пошли, Иван, проветримся, — на холодке, оно, разговаривать сподручнее, да и ушей меньше.

— Пошли, коли так. — Тот не спеша потянулся за гостем к выходу. — На холодке так на холодке.

— Ох, мужики! — кивнула она им в спину. — Слова в простоте не скажете, все у вас с намеком да с

подковыркой. — Она говорила, не глядя на него, занятая печкою и посудой. — Мне-то до ваших разговоров дела нет, мы люди маленькие, своих хлопот хватает. Только чего они все к Ивану Осипычу цепляются, ездют, воспитывают, будто он маленький, сам не знает, чего делать, как жить. — Она резко выпрямилась, и все в ней вдруг празднично ожило, засветилось. — Им бы самим у него поучиться не грех, да за науку в ножки поклониться и Бога благодарить, что сподобил с ним свидеться. — Она опять замкнулась, водрузила стопку посуды поверх чугуна, бережно подхватила его снизу и двинулась к двери, кивнув Золотареву: — Не примите за труд, откройте.

Все с тем же колотьем в горле он бросился открывать, судорожно потянул на себя дверь и, пропустив женщину мимо себя, вышел за нею.

— Меня Ильей Никанорычем зовут, — жарко выдохнул он ей вдогонку. — Ильей, в общем.

— А меня Марией, — донеслось уже из ближних сумерек под шорох удаляющихся шагов. — Покличьте Иван Осипыча, вечерять пора...

Вечер обещал быть беззвездным и пасмурным. С окрестных полей тянуло плотной изморосью. Лесополоса вдоль полотна уже не просвечивала насквозь, тянулась сплошной темной стеной. И только тусклое зеркало озера под горой слегка скрашивало густоту этой промозглой сумеречности.

Золотарев машинально обогнул тупичок и краем лесополосы потянулся вниз, к озерку, но едва оно вывилось из-под спуска цельным пятном, на его тускло поблескивающей поверхности выделились два зыбких силуэта, склонившихся друг к другу в доверительном разговоре:

— Эх, Ваня, Ваня, — в голосе Алимущкина уже не чувствовалось ни ожесточения, ни напора, одна заискивающая просительность, — ну что тебе, в самом деле, в голову втемяшилась блажь эта дурацкая! При-

думал тоже коммунию, полторы бродяги пополам с нищим, таких, сколько ни корми, все в лес смотрят, им сто твоих зарплат не хватит, дели — не дели, все равно не насытишь, как в прорву, они же еще и смеются над тобой втихомолку. Сам вон в чем ходишь, чем питаешься, одна кожа да кости!

— Мне хватает. — В густеющей темноте его голос звучал спокойно, отчетливо, на ровном излете. — У матери пенсия, другой родни у меня нет, куда копить, с собой не унесешь. Коли про один хлеб насущный думать, жить незачем будет.

— Не сносить тебе головы, Иван, подведешь ты себя под монастырь, поздно окажется. — Тот начинал снова исподволь ожесточаться. — Эх, Ваня, Ваня, мне бы твои шарики, я бы взял быка за рога! С твоими мозгами да при такой анкете тебе в наркокомат ходить, тысячами командовать. Нынче наверху такой мусор плавает, что не приведи Бог, лезут, кому не лень. Только скажи, я тебе любые семафоры открою, без остановок вырулишь.

— Мусор, говоришь, плавает, а я что там делать буду? — Иван даже не возражал, а как бы только утверждал уже давно им обдуманное и обговоренное. — Плохое из меня начальство, брат, я вон с дюжиной и то еле управляюсь. Опять же, чего мне от должности прибудет, хлопоты одни, а толку чуть. Всему предел в жизни есть, начальству тоже, а дальше что? Выходит, не все в наших руках.

— Несешь, Иван, чертовщину какую-то, — прежняя злость уверенно заполняла его и несла дальше, — за такую поповщину по нашим временам не меньше десятки с высылкой полагается, это тебе, голова садовая, известно? Коли ты умный такой и сам чёрт тебе не страшен, возьми да и выложи всю эту вражью дребедень на общем собрании: так, мол, и так, желаю всеобщей уравниловки на базе сектантской чертовщины. Может, послушают, а?

— Кому надо, тот и сам услышит, — он оставался все так же ровен и прост, — чего мне понапрасну людям душу смущать, вовремя сами одумаются, не сегодня жизнь началась, не завтра кончится.

Одна из теней, та, что покорооче, вдруг надломилась и тут же исчезла с аспидно блистающей поверхности озера.

— Что ж, Иван, живи своим умом, — голос Алимушкина поплыл в сторону Золотарева, — я тебе больше не советчик, блажи себе на здоровье, только пеняй потом на себя...

«Попал я в историю, — озадачился Золотарев, поворачивая назад, к жилью, — здесь как по тонкому льду ходить придется, того и гляди сам провалишься».

### 3

Несколько дней еще тянулась сырая бестолочь, после чего погода более или менее наладилась: грянули теплые дождички вперемежку с солнечными просветами. Золотарев коротал дни за оформлением стенных «летучек» и подбором цитат из газет и брошюр для текущих политзанятий. Порою он даже забывал о настоящей причине своего появления здесь, занятия его казались ему естественным продолжением райкомовской суеты, постепенно жизнь на разъезде становилась для него буднями, повседневностью, бытом.

Отношения с Марией складывались у него туго и неуверенно. Она заметно дичилась его и почти с ним не разговаривала, ограничиваясь скупым набором неизбежных в обиходе слов. По вечерам, закончив дневные хлопоты, Мария скрывалась у себя за занавеской и притаенно затихала там до следующего утра.

С лихорадочно бьющимся сердцем следил Золотарев, как на подсвеченной изнутри семилинейкой марлевой занавеси колебалась ее хрупкая тень. В нем

все замирало, когда она раздевалась, расчесывала волосы, укладывалась. И каждое ее движение при этом, словно на немом экране, чутко отражалось на застиранной марле. В наступавшем затем мраке он долго еще прислушивался к ее сбивчивому дыханию, в ожидании чего-то немислимого и не в силах заснуть. «Скорей бы теплело, что ли, — воспаленно ворочаясь, задышался он, — я бы на двор перебрался!»

К концу недели Золотарев не выдержал, и когда у нее за марлевым пологом погас свет, смелая в темноте, заговорил первым:

— Слышь, Мария, вроде под одной крышей живем, а друг дружке слова путёвого до сих пор не сказали.

— Вы у нас за начальство, Илья Никанорыч, — тихо отозвалось из темноты, — какие же мне с вами разговоры разговаривать?

— Нашла начальника, без сапог, а в шляпе, бумажки в райкоме с места на место перекалдываю.

— Все ж таки не наш брат, с киркой не ходите.

— Пошлют — пойду, наше дело служивое: сегодня — здесь, завтра — там. Мне до начальства еще далеко.

— Нам еще дальше, живем одним днем: день — ночь, сутки прочь, от зари до зари в работе, когда уж тут языком чесать!

— Так и молодость пройдет, жизнь — она короткая.

— Была у меня молодость да сплыла, — потерянно вздохнула она, — прогуляла я ее, пропирировала молодость свою.

— Какие твои годы, Мария, — исподволь нащупывал он к ней подходы, — у тебя все еще впереди.

— Мне лучше знать. Мне бы теперь около Иван Осипыча век скоротать, больше ничего не хочу.

— Полюбила что ли? — Все в Золотареве воспрянуло и насторожилось. — За чем же дело стало?



— Куда там, Илья Никанорыч, — голос ее сразу потеплел, сделался певучим и полным, — зачем я ему, он себе и получше найдет! Только разве он о том думает! Он все больше о других беспокоится, а до самого себя руки не доходят, себе все в последнюю очередь. Я б за ним с закрытыми глазами, хоть на край света, ноги бы ему мыла, юшку бы пила, такой человек один теперь на всю землю, совсем народ нынче одичал, глотки друг дружке разорвать готовы. Вон у нас на разъезде какая голытьба собралась, один другого краше, из милиции не вылезали, а Иван Осипыч и к этим сумел подойти, людьми сделались. Его у нас кругом знают, со всех деревень за советом идут, из города сколько народу бывает, у него для всякого доброе слово найдется, а что еще нынче человеку нужно! — И как бы окончательно утверждаясь, заключила. — Нету теперь эдаких людей, нету!

Каждое ее слово камнем откладывалось в нем, все утяжеляя и утяжеляя темный груз переполнявшей его горечи. Ему казалось, что сквозь него, сквозь его тело, сердце, душу передернута одна-единственная раскаленная и звенящая болевая струна, конечный звук которой нестерпимым жжением отдавался в гортани. Никогда раньше Золотареву не приходилось испытывать подобной муки и такого удушья: от него, как плод от пуповины, с болью и стоном отсекалась часть его самого, и уже невозполнимая часть. И горячечно забываясь в ночи, он с отчаяньем подытожил: «Кончен бал!»

#### 4

В отличие от большинства городских учреждений, в райотделе НКВД царил внушительная тишина, прерываемая лишь постукиванием одинокой машинки за дверью с табличкой «Приемная». Оказалось, Золотарева уже ждали: молчаливая, с усообразной поро-

слью над верхней губой женщина, едва воздев на него сонные глаза от расхристанного «Ундервуда», поднялась и кивком головы предложила ему следовать за ней.

— Заходи, заходи, комсомол! — бросился ему навстречу Алимускин, словно только и сидел в ожидании Золотарева. — Пошли сразу по начальству, разговор будет. — И затем заискивающе гоготнул вслед его провожатой. — Наладь-ка нам потом чайку, Верунчик! — Тут же подмигнул спутнику. — Видал тоже бабца? В гражданскую офицерье на ленточки на допросах полосовала, по всей Сызрано-Вяземской славилась, теперь у нас вот завсектором век доживает. — Он вдруг на ходу приосанился, почтительно, но бодро постучал в обитую клеенкой дверь, легонько потянул ее на себя. — Входи.

В большой пустоватой комнате — стол, несколько стульев вдоль глухой стены, табурет, привинченный к полу у самого входа, портрет Дзержинского над столом — навстречу им подался бритым наголо черепом ширококостый, почти квадратный человек с двумя шпалами в петлицах суконной гимнастерки и орденом Красного Знамени на пухлой груди:

— Это и есть твой замечательный парень, товарищ Алимускин? — Слова он выговаривал медленно, правильно, с заметным усилием, выдавая этим свое нерусское происхождение. — Послушаем твоего замечательного парня, товарищ Алимускин.

Стоя сбоку, чуть позади Золотарева, лейтенант локтем ободряюще толкнул его:

— Докладывай, комсомол, не робей!

Золотарев знал, чего от него ждут и, случись это в другой раз и в иной ситуации, ему не пришлось бы долго раздумывать над линией своего поведения. Но сейчас, прежде чем безоглядно пуститься по привычной наклонной, он на мгновение замер и похолодел, словно перед прыжком в студеную воду.

Правда колебание это длилось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы набрать полную грудь воздуха, а затем его понесло без сучка и задоринки, как по надежной шпаргалке. Он разливался перед ними хорошо вышколенным соловьем, на ходу угадывая их желания и не ожидая понуканий или подсказок: он жег мосты, он развеивал душу по ветру, он окончательно прощался с самим собою, ему не о чем было больше сожалеть и не в чем раскаиваться. Семь бед — один ответ!

По его выходило, что на разъезде советской власти не существует, что там определенно намечается подпольная организация и что, если не пресечь враждебный заговор сейчас, его участники могут в самое ближайшее время перейти к открытым террористическим выступлениям.

— Так. — Майор одним сильным движением оттолкнулся ладонями от стола и вместе с креслом отъехал к стене позади себя. — Ваше мнение, товарищ Алимусшкин?

Тот мгновенно потемнел, вытянулся, будто борзая, изобразив стойку, и хрипло выдохнул:

— Братъ. — И повторил еще тише, на сплошном сипении. — Братъ немедленно.

Еще одним усилием майор повернулся с креслом боком к ним, в кресле же обогнул стол, выкатился чуть ли на середину кабинета, и только тут Золотарев уяснил для себя причину его слоноподобной усидчивости: кресло оказалось инвалидной каталкой с обычным ручным управлением. Нижняя часть туловища от самого пояса была тщательно прикрыта у него чем-то вроде пледа или накидки.

— Значит, ваше мнение — братъ, товарищ Алимусшкин? — Он исподлобья цепко посверливал их взыскующим взглядом, деловито потирая при этом пухлые, в темной поросли руки. — Он что, может быть, штундист?

— Какое там, товарищ Лямпе! — Алимужкин явно не понял начальника, но, видно, на всякий случай решил не подавать вида. — Просто воду мутит, бала-лаечник, знаю я этого Хохлушкина сызмальства, всегда такой был.

— Так. — Глядя на них, майор все потирал и потирал руки, будто отмывая их от чего-то очень въедливого. — Взять, товарищ Алимужкин, никогда не поздно. Подумать надо, взвесить. Я смотрел его анкету, человек из пролетарской семьи, из беднейших крестьян. Какой будет политический эффект?

— На всякий чих не наздравствуешься, товарищ Лямпе. — Алимужкин вновь засучил ногами на месте. — Пресечь надо без задержки, а то дальше пойдет, концы потеряем. — В его напряженном голосе засквозила едва скрываемая угроза: знал, уверен был, пролаза, что в случае чего не спасут начальника ни орден, ни заслуги, в эти поры и поковырнее тузов на раепыл пускали. — Бдительность притупляем, товарищ Лямпе.

— Может быть, действительно штундист? — Тот равнодушно пропустил угрозу мимо ушей, смотрел на них все так же исподлобья, с отрешенной задумчивостью. — Или сектант, я таких много встречал. — Опустив лобастую голову, он продолжил скорее для себя, чем для них. — Мой отец был штундистом, мой дед был штундистом, я вырос среди штундистов. Это были простые темные люди, но они стояли за справедливость и равенство. Они понимали это по-своему, они еще не знали тогда великого Маркса, не знали великого Ленина, они сердцем верили, что все должно быть справедливо. Может быть, Хохлушкин этот ваш тоже из таких? — Он вдруг вновь вскинулся, вопросительно уставившись на Золотарева. — Может быть, наш замечательный парень еще подумает, взвесит свои слова? Может быть, еще есть возможности решить вопрос непосредственно в коллективе?

На этот раз Золотарев даже не поперхнулся, отчеканил уверенно, без запинки:

— Бесплезно, товарищ Лямпе, коллектив окончательно разложен, необходимы крайние меры.

— Если так, — у того жестко напрягся подбородок и равнодушно потухли глаза, — идите оформляйте, я подпишу. — Он опять с усилием потер руки и отвернулся, как бы предоставляя их самим себе. — Пусть отвечает по закону. — Каталка резко развернулась, вновь направляясь к столу. — Заодно заканчивайте с этими двумя из Бобрнк-Донского. Надо выяснить, кто стоит за ними: в одиночку весовщик и дежурный по станции не могли работать, здесь опытная рука чувствуется. Можете идти.

Когда они вышли, Алимущнкн полуобнял Золотарева за плечи, коротко притиснул к себе, а затем подтолкнул вперед:

— Сработаем за милую душу. — Увлекая гостя в свой кабинет, он возбужденно сопел в предвкушении добычи. — Лямпе наш тоже чудит, любит помитинговать, как будто гражданская война за околицей. Его послушать, враг, значит, в золотых погонах, а все прочие — братья и сестры, а враг — он нынче кругом прячется, в родном доме укунить норовит. — Он чуть ли не втокнул его в кабинет, вошел следом, кивнув на место у стола. — Садись, пиши. Как у Лямпе рассказывал, так и пиши, все до точки. — Но и усевшись за стол напротив Золотарева, он все еще не мог успокоиться. — «По закону»! Воля мирового пролетариата — вот наш закон! Да и чего с него взять, одно слово — немец! Насчет Рассей-матушки ни бум-бум.

Без стука, с подносом в руках, на котором стояли два граненых стакана с жиденьким чаем, вошла уже знакомая Золотареву усатая женщина, молча поставила поднос на край стола и так же молча, ни на кого не взглянув, удалилась.

Вместе с нею, с появлением этой женщины, по комнате как бы пронеслось дуновение неуловимой угрозы, но не улетучилось с ее уходом, а наоборот, тяжело осело и затаилось до поры на стенах, вещах, бумагах и даже, казалось, в душе. Рука у Золотарева вдруг сделалась непослушной, голова полон и неустойчивой, глаза почти невидящими. Слова стройно вытягивались в ряд, фраза по-прежнему нанизывалась на фразу, изложение не теряло порядка, но в нем уже не было того облегчающего совесть самоотречения, какое воодушевляло его в кабинете у Лямпе. «Быстрее бы уж все это пронесло, — заканчивая, маялся он, — мочи моей больше нет!»

— Вот, — Золотарев пододвинул исписанные листы к Алимешкину, — посмотри, что получилось. Вроде, все, как есть.

Тот долго читал, перечитывал, сопел, морщился недовольно, потом, насмешливо поглядывая на него, сказал:

— Да, брат, Льва Толстого из тебя, конечно, не получится, но в общем сойдет, больше не потребуется. Получим санкцию и будем брать, вместе с этими двумя пройдами из Бобрик-Донского. — Не вставая, протянул ему руку через стол, подмигнул одобрительно. — Наградные за мной. Бывай, скоро опять встретимся...

В коридоре Золотарев лицом к лицу столкнулся с Мишей Бóгатом. Тот скользнул по нему затравленными глазами и еле слышно сложил непослушным ртом:

— Вот вызывают... Говорят, неотложное дело... Сам знаешь, у них всегда неотложное. — Он ватной походкой проследовал дальше, в настороженную полутьму коридора и уже оттуда прошелестел. — Заходи в райком, потолкуем...

Дверь в приемную на этот раз была распахнута настежь и, проходя мимо, Золотарев поймал на себе

неподвижный, но откровенно изучающий взгляд, устремленный на него от расхристанного «Ундервуда». «Вот ведьма, — зябко передернуло его, — чего доброго, сглазит еще!»

5

На другой день к вечеру в теплушку заглянул Петруня Бабушкин — крупноголовый, с чуть ноздреватым носом картошкой мужик, которого Золотарев давно выделил среди остальных за дотошную обстоятельность на политзанятиях:

— Получка нынче, Илья Никанорыч, — пронзающе синие глаза его светились радушием, — ребята гуртом обмывают, тебя в компанию зовут, отказываться — грех, так что, просим...

Предстоящая ночь обещала быть теплой и чистой. Даль вокруг отсвечивала багровым колером догоравшего у горизонта дня. В недвижимом воздухе струились запахи плодородия и расцвета. Чуткая тишина вечера оглашалась лишь редкой переключкой паровозов откуда-то из-за обрыва тлеющего окаема. Мир готовился отойти к очередному сну.

За столом, выставленным по случаю хорошей погоды тут же, перед сплоткой, Золотарева уже ждали, разом освободив ему место на скамье прямо против Хохлушкина. С этой минуты до конца застолья Илью не оставляло подозрение, что тот, если не знает наверняка, то определенно догадывается об угрожающей ему участи: бригадир сидел молча, опустив глаза и сложив перед собой тяжелые руки, и лишь после того, как налили по первой, расклеил плотно сомкнутые губы:

— Ну, дай Бог не последнюю! — Он смотрел куда-то впереди себя, через стол, сквозь Золотарева, словно разговаривал не с ними, а с недоступным для

них собеседником. — А коли последнюю, то не помянем друг дружку лихом. Жили мы с вами по правде, по совести, никому века не заедали, за даровым хлебом не гонялись. Может, кто из вас на меня сердце держит, выкладывай при всех, а то поздно будет, лучше уж сразу, в глаза, чем на сторону нести. — Его зрачки вдруг сузились, осмысленно упершись в Золотарева. — На душе легче будет...

Пристально вглядываясь друг в друга, они встретились в упор, и здесь Золотарев впервые по-настоящему разглядел Ивана. Тот был до изможденности худ, мослат, узок в кости, но его продолговатое лицо, с сильно выдвинутыми вперед надбровьями и острым подбородком обличало в нем уверенность духа и силу характера. Казалось, что Хохлушкин раз и навсегда определил для себя однажды овладевшую им мысль и, твердо уверовав в нее, беспрестанно жил ею, этой мыслью, не терзая себя сомнениями и не отклоняясь в сторону.

— У нас, Иван Осипыч, народ грамотный, — попробовал отшутиться Золотарев, но вышло это у него довольно кисло, — если у кого жалобы, в стенгазету напишут.

— Думаешь? — Хохлушкин тем временем, прижав буханку к груди, размашисто, по-крестьянски нарезал хлеб для застолья. — Чужая душа — потемки, часом человек сам за себя не поручится, не то что за другого. Оно, у меня совесть чистая, не крал, не убивал, не злодействовал. Против власти ни зла, ни намеренья не имел: не нами поставлена, не нам снимать. Только чует мое сердце, недолго мне с вами. — Он снова замкнулся взором, поскукнел. — Дай-то Бог, обойдется.

Тихий ангел пролетел над столом, после чего все разом загудели, торопясь и перебивая друг друга. Но вскоре из общего гомонка упрямо выделился пробив-



ной тенорок Семена Блохина — бригадного заводилы, с вечным набором прибауток в улыбочивых губах:

— Мы за тебя горой, Иван, — торопился он, то и дело постреливая тревожными глазами в сторону Золотарева, — один за всех, все — за одного, куда иголка, туда и нитка. — Он тряхнул курчавой, с ранними залысынами головой. — Бог не выдаст — свинья не съест!

— Живем сами по себе, никого не трогаем, — хмуро поддержал его с дальнего конца стола Яша Хворостинин, исподлобья скользнув по Золотареву недобрым взглядом, — кому не нравится, не дѣржим. — Широкоскулое, в крупных рябинах лицо Яши напряженно потемнело. — Скатертью дорога! Ты, Иван, не сомневайся, я за себя ручаюсь.

Иван благодарно посветился на него, но вслух сказал со снисходительной укоризной:

— Не зарекайся, Яша, не зарекайся, всякое в жизни случается: бывает, так прижмет — от родной матери открестишься.

И Золотарев вдруг почувствовал, как выжидающе скрестилась на нем их общая неприязнь. Он растерянно смешался, сознавая жалкую бесполезность приходивших на ум оправданий, попытался даже сделать вид, что ничего не замечает, но в эту мучительную для него минуту откуда-то из дальней глубины зоревых сумерек, приближаясь, потек к ним протяжный гудок дежурной дрезины, которая вскоре темным колом вывилась у стрелок разъездного семафора, резко сбавила ход, плавно откатившись на ветку запасного пути.

— Это, видно, по мою душу, — облегченно заторопился Золотарев, почти бегом пускаясь к разъезду, — делать им нечего!

Последнее, что запало ему перед уходом, было потерянное лицо Марии, маячившее в течение всего разговора за спиной у Хохлушкина. Кроме прочего, его

поразило в ее облике выражение полной и уже окончательной обреченности. «Будь ты неладна, шалая, — горела земля под ним, — свалилась на мою голову!»

Еще издали Золотарев разглядел в проеме спущенного окна кабины чубатую фигуру Алимушкина, за которой смутно проглядывалось несколько силуэтов в форменных фуражках.

— Слушай сюда, Золотарев, — Алимушкина трясло азартной дрожью, — мы сейчас в Бобрик-Донской обернемся, накроем эту парочку со станции, там у нас дело с обыском, не меньше полночи займет, а к утру опять сюда завернем, бди начеку, будем брать твоего мудилу-праведника. Когда вернемся, механик тебе просигналит. Поднимешь его сам, других не буди, не развели бы паники. В нашем деле свой лоск требуется, чтобы комар носа не подточил, понял? Бывай. — И уже отворачиваясь, скомандовал в сумрак кабины. — Трогай, Шинкарев!

Дрезина плавно взяла с места и с нарастающей скоростью покатила в густеющую темь, помигивая оттуда тающим светлячком тормозного фонаря...

Застолье кончилось еще до его возвращения. За аккуратно прибранным столом, уткнув распатланные вихры в сложенные перед собой ладони, в одиночестве посапывал Филя Калинин, бывший обходчик, слабый к выпивке, но при этом нрава простого и покладистого. И в Золотареве на короткое мгновение вдруг шевельнулась искренняя зависть к этому его безмятежному забытию: «Завалиться бы сейчас на боковую и провались оно все пропадом!»

Но тут же приглушенные голоса, выплывшие к нему из-под тупикового спуска, вернули его к действительности, и он, вновь наливаясь решительностью, шагнул туда, на эти голоса, и более не терзался уже тревогой или сомнениями. «Что это я, в самом деле, — вызверился он на самого себя, — как баба, ей-Богу!»

Сразу за упором тупика, от массива лесополосы отделилась и перегородила Золотареву дорогу текущая тень:

— Слышь, Илья Никанорыч, — из ночи перед Золотаревым выделилась тощая бороденка Фомы Польшинкова, обычно донимавшего его каверзными подначками, — говорят, нынче за путевые докладные ордена дают. Охотников, надо полагать, по нашим временам, хоть отбавляй, монетный двор, я так думаю, с этими орденами вконец зашивается, вагонами отгружают. — От него чувствительно несло, редкозубый рот растягивался в откровенно издевательской ухмылке. — Что, Илья Никанорыч, боишься — не достанется?

— Уйди с дороги, Фома, — Золотарев не узнал собственного голоса, гулкая ярость ломила ему виски, — а то я за себя не отвечаю, костей не соберешь.

Взбывчившись, он двинулся в ночь, текущая тень исчезла у него за спиной, коротко хохотнув ему вдогонку:

— Не любишь против шерсти, Илья Никанорыч, а у меня для твоей милости ничего, кроме того, нетути...

Озерцо под насыпью маслянисто блестело, вобрав в свой крошечный фокус ночь целиком с ее небом в звездной россыпи, кружевом прибрежной листвы, роем мошкары над водой. В недвижной тиши отчетливо прослушивалась спорая работа природы и почвы: сквозь теплый суглинок вперегонки продирались, спеша надыхаться, травы, деревья в сонной истоме расправляли узловатые суставы, изо всех нор и щелей выскальзывала, выпархивала, возникала пробудившаяся от дневной спячки ползущая и теплокровная тварь. В подспудном биении ночи явственно ощущался свой ритм и порядок.

На подходе к воде Золотарев, насторожившись, укоротил шаг: сбоку от озера, со стороны лесополо-

сы маячила в просвете между деревьями чья-то продолговатая голова.

— ...расчет возьмем все разом, земля большая, места для нас хватит, черные рабочие везде требуются. — Только по манере произносить слова с ленивой растяжкой Золотарев узнал Андрюху Шишигина, слывшего в бригаде молчуном и парнем себе на уме. — Никто не откажется, нас от тебя теперь только с мясом рвать.

— Чего надумал, Андрейка, умней не мог, мне же еще и саботаж пришьют. — В увещевающем тоне Хохлушкина сквозило тоскливое безразличие. — Чему быть, того не миновать. — Он, видно, услышал шаги Золотарева, заторопился. — Иди, Андрейка, скоро светать начнет, я посижу еще...

Голова в просвете между деревьев пропала, прошуршал кустарник вдоль лесопосадки, после чего ночь выжидающе смолкла, оставляя Золотарева наедине с Иваном, который сидел, уткнув острый подбородок в плотно сдвинутые колени, на луговой прогалине прибрежного ельничка.

— Не спится? — Опускаясь рядом с ним, Золотарев едва сдерживал колотившую его азартную дрожь. — Шел бы ты, Иван Осипыч, на боковую, утро вечера, говорят, мудренее. — Слова он складывал первые попавшиеся, сыпал без умолку, словно заговаривая самого себя или что-то в себе. — Думай — не думай, сто рублей не деньги, курица не птица, баба — не человек. Не робей, перемелется — мука будет...

Но тот впервые за время их знакомства не дал ему договорить, оборвал тихо, с упрямой настойчивостью:

— Чего ты ходишь за мной, Илья Никанорыч, что высматриваешь?! — Лицо его, смутно бледневшее в темени, исказилось горечью. — Нет за мной никакой вины, а коли есть, сам отвечу, на других не свалю. Жил я сызмальства по справедливости, по справедливости и помирать буду. И не ходи ты за мной, Илья

Никанорыч, не ходи, не сторожи меня, не зверь я — не сбегу... Некуда.

И такая мука при этом исходила от него, такая боль, что Золотарев не нашелся с ответом, встал и грузно понес себя сквозь ночь и тишину к спасительному теплу сплотки.

Его вдруг на короткий миг осенило, будто когда-то, в каком-то неведомом ему прошлом он уже видел все это: душную ночь в звездах сквозь листву, робкие тени среди деревьев и тоскующего человека на шуршащей траве. «Пригрезится же! — Усилием воли он стряхнул с себя наваждение. — Как во сне!»

Лишь оказавшись в затемненной теплушке, он чуть опамятовался, не раздеваясь лег, но уже не заснул, чутко прислушиваясь к неровному дыханию Марии. «Не проснулась бы только, — с опаской угнетался он, — крику не оберешься!»

Куцый гудок поднял его, когда окна забелило сильным рассветом. Предметы в вагоне едва выявились из темноты, но на них еще лежала печать ночного запустения и дремы. «Ну, проноси нелегкая! — Стараясь не ступать по полу всей подошвой, он крадучись подался к двери. — Пошабашить сегодня и — с плеч долой!»

Но стоило ему миновать времянку, как из-за недвижимого до той поры полога в углу выступила одетая, словно в дорогу, Мария:

— Что ж теперь будет-то, Илья Никанорыч? — В лице ее не было ни кровинки, губы медленно тряслись. — Куда вы его?

— Не нашего ума дело, Мария, — попытался он осторожно отодвинуть ее, — наверху видней, приказано — выполняем.

Но она не отступила, уставилась в него воспаленными глазами, умоляюще сложив руки на груди:

— Выходит, прикажут, тогда и грех — не грех? Илья Никанорыч, миленький, кому он свет застил,

кого обидел когда? — Колени у нее подгибались, она медленно сникала к его ногам. — Илья Никанорыч, заставьте Бога молить, вечной работой служить вам буду, половиком постелюсь, топчите, как вздумается, только выручите его, непутевого, не виноватый он ни сном, ни духом, верно говорю. — Не получая от него ответа, она обхватила его сапоги, прижалась щекой к голенищу. — Ведь знаю, что любя я вам, я на все согласная, только выручите Ивана Осипыча, Христом-Богом прошу!

Кровь бросилась ему в голову, на мгновение он дрогнул, ослаб решимостью, и рука его против воли потянулась к выбившейся у нее из-под платка золотистой пряди, но в этот момент снаружи в теплушку проник повторный зов гудка — более протяжный, более требовательный, и Золотарев, кляня в душе свою минутную уступчивость, наконец, стряхнул ее с себя, рывком распахнул дверь, одним прыжком выкинулся из вагона и опрометью бросился в сторону разъезда.

По пути он чуть было не сбил с ног Петруню Бабушкина, который тут же пристроился к нему сбоку и, еле успевая за ним, жарко дышал ему на ухо:

— Ты, Илья Никанорыч, не подумай чего, наше дело — сторона, мы люди маленькие, промеж нами ничего такого не было, Ванька сам по себе, а я сам по себе, у меня к евонным затеям никакого касательства.

Ускоряя шаг, Золотарев даже сплюнул от досады, до того муторно ему сделалось:

— Отстань, лягавый, еще успеешь в портки наложить, где понадобится, мать твою так!

— Не обижайся, Илья Никанорыч, — тот сразу отстал, остановился, — какой с нас спрос, с сиволапых!..

Золотареву надолго запомнится и это утро, и этот — на бегу — разговор. Не раз потом ему самому придется выбирать, как говорится, между дружбой и службой, и неизменно в таких случаях он будет завидовать

той простодушной легкости, с какой Петруня Бабушкин отрекся тогда от своего бригадира, которого, казалось, открыто боготворил...

— Эх, комсомол, прохлопал утечку, — Алимусшкин спешил ему наперерез в сопровождении молоденького стрелка военизированной охраны, — полюбуйся-ка, вся малина в сборе, теперь — ходи да оглядывайся, того и гляди взбунтуются.

Золотарев обернулся и обмер: бригада почти в полном составе высыпала на полотно, выжидаяще следя за приближением незваных гостей. Хохлушкин явно держался особняком, как бы подчеркивая этим непричастность остальных к себе и к тому, что сейчас должно было произойти. По обоим бокам от него, привалившись спинами к обшивке пульмана, стояли его тезки, два брата Зуевы: Иван Большой и Иван Маленький. И хотя особой разницы между ними ни в росте, ни в стати не было — они родились в один день и час — клички эти в бригаде к ним присохли, помогая окружающим отличать их друг от друга. Всегда готовые к отпору и драке, братья зорко цеплялись один за одного, а также за своего бригадира.

— Такие дела, Иван, — Алимусшкин вплотную подступил к Хохлушкину, рассыпался отрывистой скороговоркой, — проедем со мной в райотдел, там разберутся, шума не подымай, бесполезно. — Он повелительно кивнул стрелку. — Веди.

Тот — веснушки на белобрысом лице от уха до уха — неуклюже ткнул бригадира ладонью в плечо:

— Пошли, гражданин...

Хохлушкин послушно тронулся с места, но в эту минуту произошла неожиданность: в руке Ивана Маленького вдруг оказался топор, никто не заметил, когда и откуда он успел извлечь этот топор, и рука его уже было взметнулась над головой остолбеневшего стрелка, когда бригадир опередил близнеца:

— Брось, Ванек, — вклинился он между ними, — этим делу не поможешь, только крови прибавится. Лучше мамане моей передай, чтоб не убивалась, скоро буду. И Марию не бросайте, пропадет. — И снова шагнул вперед. — Пошли, служивый, чего ждать.

Алимушкина еще трясло от бешеного возбуждения, лейтенант был заметно раздосадован таким оборотом, пальцы его теребили пуговицу кобуры, но память уже возвращалась к нему, и, поворачивая следом за Хохлушкиным, он успел лишь погрозить Ивану Маленькому:

— Я с тобой еще поговорю, кулацкая рожа, в другом месте, ты у меня еще споешь лазаря! — И напоследок Золотареву. — Не задерживайся, рассусоливать некогда, айда бегом...

В дрезине было накурено и жарко. Здесь под прищотом второго стрелка уже сидели двое, судя по всему, те самые — из Бобрик-Донского: сивоусый старик с волосатыми ушами и парень лет около тридцати, в путевой фуражке, весело скаливший на вошедших золотозубый рот.

Дрезина просигналила в третий раз, вздрогнула и, набирая разгон, поплыла мимо разъезда. Золотарев инстинктивно скользнул взглядом вдоль полотна, вздохнул и захлебнулся собственным вздохом: ровень с дрезиной бежала Мария со сведенными в крике губами. Постепенно она все более и более отставала, дрезина, гремя по стрелкам, выходила на прямую, бегущая фигурка продолжала уменьшаться в размерах, пока ее выбившаяся из-под платка рыжая прядь не сделалась крохотным пятном в голубой перспективе убегающей в даль дороги.

— Ишь ты, — кивнув в окно, осклабился золотозубый, — переживает девка. — Он стрельнул озорным глазом на Хохлушкина. — Твоя, видать, бригадир? — Тот молча сидел в углу, запрокинув голову и устало прикрыв веки. — Про тебя, брат, земля слухом пол-



нится, говорят, все науки превзошел, ни чума, ни язва тебе ни по чем, из топора суп варишь, коммунией жить норовишь. Чуди — не чуди, а припухать тебе теперь вместе с нашим братом-красноушником до самого «приведения в исполнение». И никакие речи тебе не помогут. — Не услышав ответа, он принялся за напарника. — Слышь, Никитич, чудаки нынче на трояк — пара, сами под вышку лезут, жить неохота. Нам с тобой хоть есть чего вспомнить, пожили в свое полное удовольствие, а эти-то телята за какой хрен туда же?

Но старик тоже молчал, изредка, с угрюмой злостью сплевывая себе под ноги...

На подходе к Узловой их неожиданно накрыл проливной дождь с громовыми раскатами и трескучим полыханием молний. Последние километры дрезина, казалось, плыла сквозь водяную завесу, в которой призрачно растекалась цепь пригородных построек. Когда же из дождевого месива смутно вырисовались первые станционные коробки и дрезина сократила ход, Алимушкин деловито наклонился к Золотареву:

— Давай, комсомол, дуй сейчас прямо к себе в райком. — Он заметно отмяк от недавнего ожесточения. — Там для тебя у Богата кой-чего от нас оставлено. — Затем добавочно подмигнул. — У меня закон: долг платежом красен. — И снисходительно подтолкнул его к выходу. — Топай, комсомол...

Перед тем, как шагнуть в дождь, Золотарев скинул взгляд в угол, в сторону бригадира: тот сидел, все так же запрокинув голову, но глаза его теперь были широко открыты, словно проглядывая перед собой что-то такое, что недоступно обычному зрению. На краткий миг взгляды их скрестились, но, к удивлению Золотарева, в глазах у того не было ни укора, ни осуждения, одна только тоска — долгая, глубокая, иссушающая. С этим Золотарев и вышел в ливень, в город, в наступающий день.

Миша встретил Золотарева без особой радости, но с самого начала был подчеркнута уважителен, даже ласков.

— Не садись, — Богат стал рыться в ящике стола, — дело у меня к тебе короткое, раз-два и — готово. Вот, — пряча от него глаза, тот протянул ему конверт, — приказано вручить по принадлежности, личное указание товарища Лямпе. — Миша задумчиво поскреб щетинистый подбородок, устремляясь взглядом куда-то мимо него, вздохнул мечтательно. — В Сочи поедешь, Илья, «там море Черное чарует взор», везет людям! — Затем поспешно поднялся и, не протягивая руки, понапутствовал. — Заслужил — получай и будь здоров...

Золотарев вышел из райкома с полным осадком этой их последней, как потом оказалось, с Мишей встречи. Его не оставляло ощущение, что Богат знает о нем много больше, чем это полагалось тому по должности, и поэтому на душе у него скребли кошки: «Сам же сосватал, а теперь нос воротит, очкарик вшивый!»

После дождя город выглядел чище и просторнее. Всё вокруг — мостовые, дома, деревья, провода электропередач — дымилось и отсвечивало в сиянии умытого утра. По уличным водостокам текла, летела, струилась шальная, с песчаным отливом вода. Взбудораженный ливнем, птичий галдеж упоенно сливался с ревом и бляньем во дворах и перекличкой паровозов на станции. Все предвещало в течение дня зеркальное ведро.

По дороге домой Золотарев не выдержал, распечатал конверт, заранее догадываясь о его содержимом. В нем оказались триста рублей и курортная путевка на полный месячный курс. Некоторое время он машинально перечитывал текст именного формуляра, и все события минувшей ночи вдруг сосредоточились для него в этом прямоугольничке мягкого картона:

недолгое застолье, бдение у озера, плач Марии, отречение Петруни, арест. Пальцы его внезапно ослабли, бумажка выскользнула из рук, шлепнулась в дождевую стремнинку у его ног, затем, медленно намокая, понеслась вдоль водостока и вскоре исчезла из вида.

В этот день он в первый и последний раз в жизни напился до глухого бесчувствия.

.....

Золотарев проснулся от предупредительного прикосновения к плечу: над ним склонялось застенчиво улыбающееся лицо знакомого капитана:

— Все проспите, дорогой товарищ, подлетаем, вон она красота какая внизу!

Самолет с сотрясением снижался, и в ближний к Золотареву иллюминатор, быстро разрастаясь, текла ослепляющая голубизна, схваченная по краям рыже-зеленой щетинкой тайги. Вода под крылом все светлела и ширилась, пока не заполнила собою стекло целиком, и, окончательно осваиваясь с явью, Золотарев облегченно догадался: «Байкал!»

Где-то под Иркутском состав вдруг загнали в тупик, и после нескольких часов ожидания Федор подался в головной вагон к Мозговому узнавать насчет отправки. Полустанок оказался крохотный, на три разъездные ветки, с единственным станционным строением где-то чуть не у самого семафора.

Над полустанком, над тайгой вокруг опускались сумерки. Воздух был напоен комариным звоном и духотой. Лес по обеим сторонам полотна вытягивался в перспективу пути сплошной шпалерой без просвета или неровностей. Вот так, вблизи, а не через люк бегущего вагона, он, этот лес, казался Федору еще запутанней, еще теснее.

«Сколько его, лесу-то, здесь, — невольно захватывало у него дух, — на тыщу верст, видно, всю Рассею застроить можно, не то что у нас: с бору по сосенке».

Мозговой встретил его хмуровато, начальству заметно было не до гостей:

— Здоров, солдат, давно не видались, чего скажешь хорошего, а то все с дерьмом лезут?

Только тут Федору стало понятно его состояние: тот оказался довольно основательно пьян, причем, что называется, злым вином, а потому был в унынии или, вернее, в ожесточении.

— Да я насчет отправки, — миролюбиво облегчил его Федор, — а не в настроении, так я уйду.

Миролюбивость гостя мгновенно укротила хозяйна, жесткое лицо его смягчилось:

— Ладно, солдат, садись, гостем будешь. Только чего ж я тебе скажу? Кол, понимаешь, и тот иногда стоит, а эшелону Сам Бог велел. Эх, народ, народ, куда торопиться-то? — Он настраивался на философ-

ский лад. — Знаешь, как умные люди у нас в Нагаеве говорили: чем больше сидишь, тем меньше остается. Лучше давай-ка вот со мной за компанию рванем по маленькой, чтоб душа на простор пошла!.. Эй, мать,образи-ка нам с солдатом чего-нибудь, сама знаешь чего!

Неожиданно для Федора из темного угла вагона выявилась жердеватая старуха с таким же жестким, как у Мозгового, лицом:

— Здравствуйте, — в отличие от внешности, голос у нее оказался певуче мягким или, как принято говорить, ласковым, — почему не попотчевать гостя, только тебе, Паша, довольно бы, мне не жалко, да ведь назавтрева опять головой мучиться будешь.

— Ладно, мать, — добродушно отмахнулся тот, — мечи на стол, что есть, где наша не пропадала! — И уже обращаясь к Федору. — С самой молодости моей за мной по пятам тянется. Без нее и впрямь пропал бы ни за понюх, не вынес бы всех своих штрафных командировок. Сколько она слез выплакала, сколько добра перепуляла вохре подлючей, счету нет, чтоб только умаслить тварь эту едучую, вытащить Пашку своего у костлявой из пасти. Цинга меня, как моль, побила, барачный клоп всю шкуру изгрыз, ни одного ребра целого от лихих правил не осталось, а вытащила, не отдала костлявой. — Он рывком притянул Федора к себе за ворот гимнастерки. — Вот что такое есть мать, солдат, понял? — В свете керосиновой лампы мускулистое тело его под тельняшкой с засученными выше локтя рукавами, всё в татуировках, наростах и шрамах казалось и вправду жестоко изгрызанным. — Не возись, мать, душа горит!

— А уж и готово, Павлуша, а уж и готово, — спешила к ним та из своего угла, с широкой доской вместо подноса в руках, — захвалил ты меня, Паша, перед гостем стыдно. — Она уважительно и аккуратно расставляла перед ними угощение. — Я уж вас давно

заприметила и всё семейство ваше, хозяйственные люди, сразу видно. Ну, угощайтесь, молодцы, а я по-сумерничаю, у меня еще штопок пропасть...

— Видал, — кивнул вслед матери Мозговой, — она у меня особенная, с придурью: ее всю жизнь без-меном по голове, а она ко всем со скатертью, бывают же люди! Ну давай, солдат, по первой, за встречу, так сказать, и чтоб не последнюю...

Сколько видел Федор за свою короткую жизнь, сколько слышал, войны хлебнул четыре ровных годика, тоже не фунт изюма, и крови, и дерьма — всего вперемешку было, но того, что узнал он в этот вечер от хмельного хозяина, хватило бы ему на четыре жизни лет по полтора. Порою казалось, да уж не зали-вает ли тот спяну, таким непостижимо невсамделиш-ным было всё, о чем он рассказывал...

— ...Как это там поется, солдат: «бьется в тесной печурке огонь», так, что ли? Только в моей землянке на колымской командировке печурки не было, солдат, топили по-черному, чем украдем, а не украдем, — собственной вонью согреваемся. В шесть подъем, в двадцать два ноль-ноль — отбой, без выходных и праздников. Птюху<sup>1</sup> с утра получишь, не птюха — кусок глины мороженой, а на дворе — пятьдесят гра-дусов по Цельсию, нормы не дашь и птюхи не будет, кайлалы золотишко, как заведенные, одна синяя муть в глазах держалась. Только, когда посыпались у меня зубы мои сахарные, как горох из стручка, залег я в землянке, хоть стреляйте, не выду больше!.. Наливай, солдат, по-новой, душа из нее вон! — Он залпом выпил и вновь оскалился в сторону Федора металличе-ским набором вставных зубов. — В те времена за невы-ход одна мера была — вышка<sup>2</sup>. Только мне все уже стало без разницы: вышка, так вышка! Лежу, как

---

<sup>1</sup> Птюха — пайка. Жаргон.

<sup>2</sup> Вышка — расстрел. Жаргон.

вошь на морозе, смерти жду, хотел бы — не подняться. Надзор не спрашивает, что, зачем, надзор свою службу знает: выдирают они меня из землянки с мясом, можно сказать, и — на вахту. Гляжу, рядом с вахтой офицерья навалом и все — навтытяжку, а посреди них сидит себе на стульчике, покуривает плюгавенький такой шибздик в полковничьей папахе, соплей перешибешь. Понеслась, солдат, моя душа в рай, только пятки сверкают, понял я: Никишев! Кранты мне! Никишев пощады не имеет, у него рука бьет без разбору, своих и тех на месте укладывал, по всей Колыме этим гремел, с самим Сталиным, как мы с тобой, разговаривал. И хоть не видал я его никогда, сразу узнал — он! Эх, солдат, солдат, чтоб тебе даже в страшном сне гнида эта подлючая не приснилась! — Отрешенными глазами он глядел прямо перед собой, как бы заново переживая случившееся. — Держит это меня вохра с двух сторон, чтобы не свалился, а Никишев, падло, ласково так, с подъездцем спрашивает: «Больной, значит?». Я молчу, мне его игры до фени, отвечать — себе дороже, да и язык у меня все равно не ворочается. «Есть у меня для него одно лекарство, — говорит, — только горькое, — и ко мне, — не боишься?». Тут я впервые хайло раскрыл: была — не была! «Нет, — говорю, — гражданин начальник, отвык». Смотрю — лыбится, понравилось, значит. «Бугром<sup>3</sup>, — спрашивает, — к политическим пойдешь?». А я ему опять: «Это без зубов-то?» Дорого мне эта шуточка обошлась, сам не заметил, солдат, как сломался, а когда рюхнулся<sup>4</sup>, поздно было. «В санчасть его, — говорит, — пусть отлеживается, мне такие ребята нужны, сразу видно: морская душа!» С тех пор и хожу я в погонялах, ни дна б ему, ни покрышки, этому Никишеву, маму бы я его мотал, что с кадровым моряком сделал! Откантовался я у лекпома с месяц,

<sup>3</sup> Бугор — бригадир. Жаргон.

<sup>4</sup> Рюхнулся — опомнился. Жаргон.

оклемался малость, зовут меня по-новому на вахту, отваливают шмотье первого срока. «Облачайся, — говорят, — велено тебя по начальству доставить, теплее, — говорят, — заворачивайся, путь дальний». — «Куда еще, — спрашиваю, — нужда объявилась?» — «А твое, — отвечают, — дело телячье: обделался и стой себе, помалкивай!» Спорить, сам знаешь, нашему брату себе дороже, одеваюсь, соплю в две дырочки. Сажают меня, будто опера, в офицерские розвальни и прямиком через тайгу на политическую командировку. Как сейчас помню, торчат три палатки брезентовые в снегу над берегом, а сбоку сарай не сарай, вроде конюшни, да три балка рядом для надзорслужбы. «Слезай, — говорят, — ждут уж тебя». Заводят меня в офицерский балок, смотрю, сидит это там Никишев мой собственной персоной, коньячок потягивает, сухим черносливом закусывает, китель нараспашку. «Садись, — говорит, — разговор будет». Наливает он мне коньяку полкружки. «Пей, — говорит, — бригадир, есть к тебе разговор». Рванул я свою долю залпом, башка с непривычки крúгом пошла, а он мне сходу: «Читал я, — говорит, — анкету твою, занятая, — говорит, — анкетка». — «Какая есть, — отвечаю, — гражданин начальник, другой не заслужил еще». — «С Кубани, значит, родом, — спрашивает, — казак?» — «Так точно, — отвечаю, — гражданин начальник, из станицы Платнировской». — «И что же, — спрашивает, — родня там осталась?» — «Какая, — отвечаю, — родня, гражданин начальник, все в голодовку перемерли, одна мамашка спаслась, недалеко тут перебивается». — «Помнишь, значит, голодовкуто, — спрашивает, — а сам глядит на меня, как кот на мыша, — не забыл?» — «Еще бы, — говорю, — забыть, век не забуду и другим закажу, тогда мухи и те дохли». — «Коли так, то пошли со мной, — говорит, — устрою тебе урок политграмоты». Накинул это он казакинчик свой полковничий на плечи, папаху в руки



и вон из балка. Сквозит это он напрямиком к сараю, я — за ним, а к нам уж со всех сторон надзорслужба сбегается, услужить норовит. Влетаем мы с начальством в сарайчик этот, Никишев командует за спину: «Давайте-ка их сюда, этих сукиных детей, — конвоиры ему тут табуреточку подставляют, знают свое дело, прохиндеи, — как говорится, произведем наглядную агитацию!» И вот волокут вскорости ему двух эзков поперек себя тоньше. Веришь, братишка, видал я доходяг, сам доходягой загибался, а таких видывать не приходилось: гнилая рванина на одних костях держится. Поставили это их перед ним, стоят, словно паутина на ветру колыхаются, хоть ложками собирай. Один, вроде еврея, в черной заросли, а другой, похоже, наш, нос уточкой, глаза квакушкой, на лице безо всякого выражения, дошли, как говорится, до точки. Никишев мой кивает надзору: смывайтесь, мол, а потом поворачивается к эзкам, с эдаким ласковым подъездом: «Честь имею, господа бывшие члены цека, чего хорошего скажете, чем порадуете партию и правительство?» Молчат без пяти минут жмурики, глядят пустым глазом в одну точку, только шевелятся. «Чего ж язык проглотили, — ярится помаленьку Никишев, — или говорить разучились? Ты же, Изя, — кивает он еврею, — всей пропагандой в Кавкрайкоме командовал, колесницей гремел, соловьем разливался, целую казацкую вольницу к общему знаменателю привел, сделал Кубань-матушку колхозной житницей, все сусеки под метелку вычистил, ничего для родины не пожалел, — ни себя, ни народа, соломой на работе горел, а всё с твоей легкой руки, Иван Алексеич, — русский, нос уточкой, тут же квакушкины глаза в землю упер, — она у тебя еще с гражданской легкая осталась, офицерье деникинское долго твою ласку по парижским кабакам вспоминать будет, да и землячки кубанские не забудут, как ты их к счастливой жизни с Изькой вместе наганом заворачивал, не задаром у

нашего дорогого вождя орденок схлопотал, что теперь скажешь?» Стоят доходяги, даже колыхаться перестали, судьбы своей дожидаются. Поворачивается здесь Никишев ко мне, глаза белые, губы в синюю ниточку. «Усвоил, — говорит, — бригадир, политграмоту? — А сам под бекешкой своей кобуру расстегивает. — Доверяю тебе, — говорит, — бригадир, боевое оружие, покажи на живой мишени, чему тебя во флоте выучили, под мою личную ответственность». Не знаю, не ведаю, братишка, что тогда со мною сделалось, ум за разум зашел, в глазах белый свет помутился: вспомнил я разом, как богovala тогда городская голь по станицам, моровой стон стоял только да голосили бабы над ребячьими люльками, как ползала на карачках мелюзга по жухлой стерне, гнильем летошним разживалась, как высыхала вповалку на холодной печи родня моя взрослая, смердила падалью на весь двор, будто чумой тронутая... Свету мне тогда, солдат, не взвиделось, пошел жать на гашетку, всю обойму до предела выжал. После того и сам свалился, то ли воздуху не хватило, то ли коньяк сморил, слышу только голос Никишева моего над самым ухом: «Понял теперь, бугор, что — к чему? — шепчет: — Принимай иди бригаду и помни, с кем дело имеешь, все они, сукины дети, одним миром мазаны, на них крови больше, чем на тебе поту, теперь ты им хозяин...» Так и пошел я, братишка, с тех пор на повышение... Тащика еще одну, мать, все равно нехорошо!

Мозговой сам налил себе стакан до краев, сглотнул одним махом и тут же рухнул распластанной головой в стол, мгновенно забываясь мертвецким сном.

Из своего угла неспешно вышла старуха, молча постояла над ним некоторое время, скорбно покачиваясь, потом сказала:

— Вот так всякий раз мается, а чего маяться, лучше других будет. Всё никак забыть не может, что парходным механиком был, за халатность и сел-то, а

в тюрьме, сами знаете, чего не бывает, такое уж место. — Она вздохнула, слегка поклонилась Федору. — Не обессудьте, коли что не так, утро вечера, говорят, мудренее. Будьте здоровы.

В эту минуту в ней чувствовалась уверенность не только в горькой правоте своего сына, но и в том, что гость тоже разделяет, не может не разделять вместе с нею этой ее уверенности...

Федор вышел в ночь, не ощущая ни хмеля, ни тяжести. Одна лишь яростная тоска переполняла его. Снова и снова, в мельчайших подробностях и деталях прокручивалась в нем лента только что услышанного. Он пытался представить себя на месте Мозгового, гадал, как он сам поступил бы в его положении, но более всего растравлялся он общей безысходностью.

«Давим друг дружку, — кипел Федор, — потом — перемена места, и все сызнава начинается. Выходит: куда ни кинь — всюду клин. И конца этой карусели не предвидится!»

Ночь над полустанком стояла душная, глухая, непроглядная, а еще непрогляднее в этой ночи маячила всё та же полоса тайги перед железнодорожным полотном, и если бы не живое биение жизни эшелона, вдоль которого он брел, могло показаться, что мир вконец оглох от собственного крика и боли.

Уже берясь за скобу двери своего пульмана, Федор неожиданно ощутил рядом с собою чье-то дыхание:

— Тут кто?

— Это я, Федор Тихоныч, — узнал он голос Любы Овсянниковой, — колготят мужики сильно, голова болит.

— Чего ж около вагона стоять-то, глупенькая, прошлась бы хоть вдоль состава, что ли, волков тут нету, съесть некому.

И по мере того, как Федор складывал слова, он чувствовал, что душа его отмякает жалостью. Странное дело, сколько он себя помнил, с женщиной, какого

бы возраста она ни была, у него почти всегда складывались отношения старшего с младшей. Это привилось ему, видно, еще в семье, где отец, помыкая матерью и бабкой, как бы передоверил ему сиротское право жалеть их или проявлять к ним свое мальчишеское сочувствие. Не раз за долгие четыре года сподручной к быстрым знакомствам войны Федор имел возможность излечиться от этой блажи, но то ли по склонности характера, то ли по какой иной причине так и не смог преодолеть в себе врожденной слабости.

К Любе же Федор исподтишка присматривался с первого дня дороги. Жила в ней какая-то удивительная тишина души, от которой окружающим в ее присутствии становилось спокойнее и проще. К беде своей девичьей она относилась с ровной умиротворенностью, отвечая на попреки матери, какими точила она ее с утра до ночи, молчаливой усмешкой. Федору по душе была и эта ее, не по летам, самостоятельность, и умение незаметно, но твердо поставить себя среди других, и неизменная в ней обстоятельная опрятность, отчего не раз за дорогу он мысленно отмечал с убеждением, что будет Люба кому-то хорошей женой.

— Хочешь вместе пройдем, пока улягутся? — предложил Федор с привычной для себя снисходительностью. — Не бойся, не съем.

— А я вас и не боюсь, Федор Тихоныч, куда захотите пойду, хоть с завязанными глазами.

И сказала она это с такой подкупающей простотой, с такой доверчивостью к нему, что он не выдержал, благодарно и бережно, будто ребенка, привлек к себе, сразу же услышав, как трепетно пульсирует где-то у его предплечья ее сердце.

На следующий день в вагоне с утра появился Мозговой, вновь ни в одном глазу, как всегда резкий в слове и в движении:

— Здоров, солдат. Такое дело, я тут с дежурным по станции перекинулся: стоять нам в этой дыре, не перестоять, если не подтолкнуть сверху. Думаю так: цепляй-ка все свои бляхи и айда, гребем первым проходящим в Иркутск, будем вдвоем толкать, ты — бляхами, я — горлом. Дежурный здесь — мужик понимающий, придержит для нас сквозной товарнячок. Задача понятна?..

Вскоре они уже тряслись на тормозе порожней углярки, уносившей их в сторону Иркутска. Солнечный день набирал силу, и в его ослепительном свете редящая ближе к городу тайга отливала всеми цветами радуги. И то, что с земли, с расстояния в несколько шагов, отпугивало своей монотонной непролазностью, отсюда, с тормозной площадки бегущего по высокой насыпи поезда, удивляло разнообразием рельефа и местностей: чуть побитая ржавчиной таежная хвоя сменялась яркой пестротой луговых прогалин, сабельные излучины речек — блюдечной округлостью озер, сиротливая обнаженность вырубок — дымящейся смолой рослых боров. Затем, на самом подходе к большому жилью, вдруг резануло по глазам из-за редколесья таким свечением и такой безбрежностью, что Федор невольно зажмурился и скорее сердцем, чем разумом определил: Байкал!

Иркутск встретил их сонной тишиной и уличной безмятежностью. Жара загнала всякую жизнь в спасительную прохладу навесов, контор, подслеповатых пятистенников. Деревянный, более, чем наполовину, город струился вверх знойным, чадного цвета маревом. Асфальт в центре города плавился под ногами.

Мозговой неумолимо таскал Федора за собою по городским учреждениям, выталкивал его впереди себя, гудел сзади:

— Войдите в положение, товарищи, эшелоны спешат на трудовой фронт, правительственное задание первоочередной важности: освоение земель, освобожденных от японских захватчиков. Каждый день на вес золота, стоять нет никакой возможности, прошу вашего командного содействия...

Их долго пересылали от одного к другому, затем к третьему, откуда они шли еще дальше, где им тоже отказывали, пока, наконец, некий разомлевший от жары обкомовский весельчак в бурятской тубетейке не надоумил их:

— Даю координаты, только, чур, не выдавать. Прием?

Мозговой сделал понятливую стойку:

— Вас понял.

— Сегодня в городе ваше руководство, начальник главка Золотарев, сыпьте к нему, как-никак у него прямой провод с самим, понятно? Прием?

— Где? — громким шепотом выдохнул Мозговой.

— Может, тебе его еще на дом доставить? — лениво хохотнул тот. — Всё, отключаю связь...

Наступало время обеда, и они завернули в ближайшую чайную, где за парой пива Мозговой изложил Федору план дальнейших действий:

— Этого надо на другой крючок брать, орденами его не проймешь, у него своих мешок. Для него у меня новая наживка имеется, он ведь, Золотарев этот, ваш, я слышал, тульский, а у нас вашего брата, землячков его, пол-эшелона, не считая тебя. Забросим, наверняка клюнет. Кому перед своими орлом быть не хочется? Тут я тебя про запас беру, на случай сгодишься.

— Его еще найти надо, — попытался было остудить спутника Федор. — Курочка в гнезде, а яичко сам знаешь, где.

— Найти-то я его найду, тоже мне город — полторы деревни, главное, чтобы клюнул, иной раз и срывается. — Он вдруг как-то странно, словно бы издалека, взглянул на Федора. — Может, Золотарев этот с тобой из одной деревни, солдат, а, чем чёрт не шутит?

Федор поспешил отмахнуться:

— У нас в Узловой Золотаревых, как собак нерезанных, не меньше полрайона...

Зачем было, в самом деле, этому Мозговому знать или даже догадываться, что Федор не только хорошо помнил семью, из которой вышел Илья Золотарев, но также мог поведать о своем теперешнем начальнике многое такое, о чем тот и сам, наверное, давно забыл или, во всяком случае, постарался забыть! Замкнутый мирок деревни обычно долго хранит в общественной памяти позор и славу своих односельчан, тем более тех, кто сумел подняться наверх. Оттого-то Золотарев, давным-давно оперившись в большие орлы, не спешил покрасоваться полученным оперением в родной деревне, а объезжал ее по возможности окольными дорогами: не было там охотников привечать его.

«Попробуй, брат, попытай счастья, — мысленно понапутствовал Федор спутника, — только вряд ли выгорит!»

А вслух сказал:

— Ты с начальством знаешь, как разговаривать, тебе и карты в руки, действуй!

Прежде чем пуститься в решительное предприятие, уполномоченный снова распределил роли:

— Теперь, солдат, будешь прикрывать тыл, смотри и учись, под старость — кусок хлеба. Первым делом — в рыбхоз, это его епархия, значит, должны

знать, но сперва — в парфюмерный, бабы в таком деле — великая сила, следуй за мной, солдат! Дави на весла!

В три броска — справочное бюро, парфюмерный магазин, областное управление рыбхоза — они заняли исходную позицию около приемной управляющего, после чего спутник сделал Федору знак оставаться на месте, а сам скрылся за дверь.

В ожидании Мозгового Федор бесцельно слонялся по коридору, когда перед ним вдруг возник лысенький гном в очках на малиновом, картошечкой носу:

— Вы из глубинки, товарищ?

— Вроде того, — растерялся Федор.

— Я — спецкорр отраслевой газеты Кунов, — от-рекомендовался гном, деловито заслоняясь от него огромным блокнотом. — Что нового на местах?

— Вроде... Порядок...

— Значит, всё замечательно? — В очкарике было что-то рачье: цепкое, вьедливое, злое. — А если конкретнее?

Федор растерялся вконец:

— В общем... Так сказать... По-всякому...

— А еще конкретнее?

Федор развел руками, вздохнул.

— Это не ответ, товарищ.

И неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы в этот момент из приемной не вынесло ему на выручку торжествующего Мозгового:

— Вперед, солдат! — Увлекая за собой Федора, он одним машинальным движением свел присутствие гнома на нет. — Посторонитесь, товарищ, государственное дело. — И подался к выходу. — В обкомовской гостинице окопался. Придется брать карася по телефону, туда нас ни в жизнь не пропустят. Гребем на почту!

Но Золотарева на месте не оказалось. Пришлось повторять и повторять звонки, а в перерывах меж-



ду звонками коротать время у ближайшего пивного ларька.

— У начальства, солдат, день не нормированный, — втолковывал Федору Мозговой, любовно сдувая пену перед собой, — им за пьянками да гулянками по миру сходить некогда. Только мы — люди простые, нам обождать без разницы: что в тюрьме, что за пивом. Правильно я говорю, солдат, или нет?

И лишь где-то среди ночи торчавший в телефонной будке Мозговой победно осклабился в сторону Федора всей своей металлической челюстью и призывно подмигнул ему: подойди-ка, мол!

Его соединили не сразу, долго и въедливо расспрашивали, кто, да зачем, да по какому вопросу и почему в такой поздний час, на что тот — стреляный воробей, — упорно твердил одно и то же: вопрос государственной важности. В конце концов состязание двух служебных занудств завершилось безоговорочной победой Мозгового: Золотарев-таки взял трубку.

— Товарищ Золотарев? — Его вдохновенно несло. — У телефона уполномоченный вашего главка Мозговой... Мозговой, говорю, Павел Иванович! Сопровождаю эшелон с контингентом во Владивосток с дальнейшим следованием на Курилы. В основном туляки... Туляки, говорю! Из Узловой... Узловские, говорю! Эшелон, — он снова, теперь уже заговорщицки подмигнул Федору, — пятые сутки стоит на сорок втором разъезде, прошу вашего срочного содействия пресечь бюрократическую волокиту и прямой саботаж. Под угрозой выполнение государственного задания. Снимаю с себя ответственность за срыв... Так, слушаю вас, товарищ начальник главного управления!.. Есть... Есть... Готов выполнить любое задание... Так... Есть, товарищ начальник главного управления!

Уполномоченный бережно, как нечто очень хрупкое, повесил трубку и, выходя из будки, не скрыл са-

модовольства, покровительственно похлопал Федора по плечу:

— А ты говорил! Век живи, век учись и дураком помрешь, солдат. Видал, как ихнего брата обламывают? То-то же! Карась, как говорится, недолго трепыхался...

На радостях они еще успели до закрытия в вокзальный ресторан, где Мозговой, накачивая Федора разным зельем вперемешку, клятвенно заверял его:

— Держись за меня, солдат, не пропадешь. Куда хочешь проведу и выведу. Во Владивостоке я тебя и твоих первым пароходом отправлю, чего тебе сидеть в городе, проживаться! Первым пароходом прибудешь — первый спрос на тебя, любое место сам выберешь. Верно тебе говорю, солдат, это ж золотое дно — Курилы!

Потом они беспорядочно кружили по станционным путям на товарной станции в поисках попутного состава. Потом Мозговой охаживал паровозную бригаду, чтобы те взяли их к себе — не ехать же им, в самом деле, ночью на тормозе — и заговорил-таки, те взяли, хотя и не по закону. И вскоре гулкая машина уносила их сквозь звездную темь над землей, над тайгой, над временем в свистящий туннель пространства.

Федор сидел на корточках, прислонясь к тряской стене тендера, глядел на веселый огонь в топке, думал о себе, о Любе, о земле с дымным названием Курилы, и, пожалуй, впервые за много лет на душе у него было легко и просто.

### 3

*Никто не играл им впереди на дудочке, никто не манил их за собою, никто не уговаривал. Они шли сами, ломали впритык друг к другу, сплошной массой, лоснящимися лбами подталкивая передних. Их*

*вел изначальный инстинкт, предчувствие, укорененный в крови страх, который, однажды пробудившись, уже не отпускает тело, заставляя его содрогаться от собственного существования. Их было так много, что казалось, будто целое побережье заволкло холодной, пепельного цвета лавой и она — эта лава — беззвучно стекает в море, не оставляя после себя даже пены. День клонился к вечеру, а они все шли и шли, имя им было легион легионов, и море равнодушно смыкалось над ними, словно это был песок или водоросли. И когда, наконец, их безумный исход завершился, на земле сделалось чуть-чуть чище и стало немного легче дышать. Но утром, едва встало солнце, всё повторялось снова.*

На аэродроме его встретил второй секретарь обкома — оживленный говорун в штатском плаще поверх полувоенной формы — и, минуя город, повез его прямо в ближайший рыбхоз.

— Сверху жмут: механизировать промыслы, — жаловался он Золотареву по дороге, — а кредитов не дают. Выходит, опять выкраивай из местного бюджета. Потихоньку, конечно, выкручиваемся, но ведь и своих дыр хватает, только-только войну проводили, заплатка на заплатке, не успеваем перелатывать. Оживает страна, оттаивает помаленьку, хотя еще пахать и пахать до полной-то мощности...

Сразу за городом потянулись поля с перелесками, исподволь дорога брала подъем, окрестность густела, сужалась, прогалины и поляны становились реже, за-терянней, и вскоре машина уже петляла среди сплошной тайги, надсадно взывая на поворотах. По мере подъема небо впереди становилось все выше и дальше, провисая на черных пиках сосен и лиственниц.

— Тут еще год тому было не проехать, — словоохотливо объяснял спутник, — кедрач сплошь стоял, одни косолапые бегали, теперь другое дело, жить можно, была бы резина да горючее, кати хоть кругом всего Байкала, асфальт — не асфальт, а проехать годится.

— Отстраиваемся, значит? — рассеянно отозвался Золотарев, жадно вглядываясь в перспективу змеившейся впереди дороги. — Это хорошо, пора стране на ноги вставать.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — невесело усмехнулся обкомовец и тут же заторопился с разъяснениями. — Сами бы мы не потянули, не по

карману удовольствие, спасибо эмведе порадело своим контингентом, у них людей хватает.

— И много их тут?

— Разворачиваются всюду: камень, лес, дорожное строительство, всего помаленьку, а нам — польза, оживает край. — Тот испытующе потянулся к нему. — Хотите взглянуть?

Предложение застало Золотарева врасплох. Работая в ведомстве, власть которого простиралась над всей тюремно-лагерной сетью государства, он, как это ни странно, никогда в жизни в глаза не видел живого заключенного. Для него всё это было чем-то таким, что выражалось лишь в цифрах, сводках, географических обозначениях и что определялось в его среде безличным: «они», «их», «ими». Даже те из них, кого ему приходилось когда-то лично знать и с кем сталкиваться, едва канув в барачном небытии, улетучивались у него из памяти, мгновенно растворяясь в обезличенном: «там». В учреждении, где он служил, лагерная тема была не то чтобы запретной, но о ней не принято было говорить, разговор об этом, словно о смерти в доме покойника, считался проявлением дурного тона, вызовом окружающим, если не провокацией.

— Разве что взглянуть, — неуверенно уступил он соблазну. — Только не задерживаться, времени у меня в обрез.

— Да тут рукой подать, — заметно оживился впереди шофер, сбросил скорость, тайга за ветровым стеклом разрядилась, подступила вплотную. — Все одно скоро перекусывать пора, без разницы. Чуть спуститься, как раз лагпункт на берегу, камень ломают. Там перед самой зоной старик один обитает, на вольном хождении устроился, пасеку обихаживает, рыбкой промышляет для офицерского стола. Нам тоже не отказывает, сообразительный старикан, против ветра не мочится. — Не ожидая согласия, он съехал в первый же боковой отплеск. — Не пожалеете.

Переваливаясь с колеса на колесо, машина поплыла сквозь парной, с ленточкой иссиня-белесого неба впереди сумрак мачтового сосняка. Лес расступался лениво, будто нехотя, колея на узкой, густо поросшей травами просеке еле проглядывалась, и Золотареву порою казалось, что они не движутся, а идя ко дну, медленно тонут в ржаво-зеленой паутине тайги.

Обтекавшая их со всех сторон бездна не походила на исхоженные вдоль и поперек перелески, знакомые Золотареву по воспоминаниям детства, или кружевные чащи, мимо каких походя проносила его война. В этом беспорядочном переплетении трав и деревьев без оттенка и запаха таилась какая-то едва ощутимая угроза, от которой на душе час от часу становилось все сиротливей и неуютнее. «Здесь, видно, — поежился он, — шаг в сторону и — пиши пропало: в трех соснах заблудишься».

Сначала, сквозь редеющую чашобу, заблестала отдаленная полоска воды, затем, уже с опушки, обнажилась обширная вырубка, отвесно срезанная у каменистого берега, и, наконец, машина заглохла, чуть не упершись в ребристую кромку обрыва.

— Приехали, — глуша мотор, повернулся к пассажирам шофер. — Отсюда, как из царской логи, всё видать.

С высокого, круто нависшего над озером берега обзор и впрямь открывался во все стороны. Впереди, насколько хватало глаз, расстиралось ровное, как полированный стол, водное зеркало, сливаясь у горизонта со слепящей синевой неба и стеной корабельного сосняка по ближним боковым берегам.

— Вон полюбуйте, внизу слева, в расщелине, — почему-то понижая голос, произнес секретарь обкома, — там их хозяйство размещается.

Повернув взгляд вслед его кивку, Золотарев внутренне обмер: под высоким, уродливо изгрызанным берегом копошилось множество обнаженных до пояса

людей в окружении соединенных колючей проволокой надзорных вышек. «Так вот оно, как это выглядит! — задохнулся он про себя. — Ишь ты!»

Глядя на это соревнование людей со скалой, Золотарев вдруг отчетливо представил себя среди них, и ему сделалось не по себе. Ведь в той смертельной игре случайностей, в какой он принимал участие, все могло сложиться для него совсем иначе, и тогда копошение за колючей проволокой оказалось бы лучшим, что могло его ожидать. Он не мог знать, почему чаша сия миновала его, но оттого, что она все-таки его миновала, в нем тут же пробудилось горделивое сознание своей причастности к некоему избранному кругу, к племени победителей, так сказать, к тем, кто управляет, а не подчиняется. И Золотарев с веселым облегчением повернулся к спутникам:

— Ну, где этот ваш старикан?

— Да вот тут рядом, в леске, — заторопился шофер в явном предвкушении угощения. — Примет по первому классу!

Они пересекли полянку и по едва заметной тропе сквозь частый подлесок вышли к дому на опушке, скорее не дому даже, а домцу, времянке, зимовью, что ли, об одном окне и с плоской крышей. Зимовье маячило перед ними в самом бору, маня их своей хозяйственной опрятностью.

— Ишь устроился в заключении, старый хрен, — шутливо покачал головой Золотарев, — как на даче.

Шофер встревоженно заторопился:

— Так ведь работает человек, да еще, может, за троих. На нем здесь всё подсобное хозяйство держится! Без него бы пропали, одна рвань воровская да политические, а им, известное дело, работа — не в работу!

Видно, возможность лишиться дарового угощения задела его за живое, и он в страхе своем не заметил,

как перешел границы субординации, на что тому и не замедлило указать его прямое начальство:

— Разговорчики, Шилов! Топай-ка лучше вперед, предвари старика, чтоб не как снег на голову...

Но хозяин уже выбирался к ним навстречу из довольно обширной пасеки, без всякой, впрочем, предохранительной сетки, а только в сдвинутой на самые брови то ли беретке, то ли кепке без козырька. На ходу он мелко кланялся им, не произнося при этом ни слова.

— Молчун, — пояснил Шилов, — секта такая, говорят, есть, но безвредный.

Так же молча тот пригласил их в дом и привычно засуетился, выкладывая перед важными гостями нехитрый набор своего угощения: миску с чуть присоленными омульками, сотовый мед, ежевику в большой стеклянной банке, четвертную бутылку медовой браги, кедровые орешки для приятного времяпрепровождения. Но во всем, что старик делал, было столько горемычной щедрости, готовности услужить, что от вынужденного этого его гостеприимства Золотарева брала оторопь.

Наблюдая за ним сейчас, — за его суетливыми движениями, за его услужливостью, — Золотарев вдруг поймал себя на мысли, что где-то, когда-то встречал этого человека. Собственно, хозяин и не был так стар, как это могло показаться в самом начале. Старила его, скорее, только седеющая бородка да ранние морщины, сквозь которые проглядывалось лицо складного мужичка лет сорока, не больше. Вглядываясь в это лицо и постепенно, слой за слоем снимая с него плотные тени времени, Золотарев, наконец, восстановил в себе цельный облик человека, которого он, конечно же, хорошо, даже слишком хорошо знал. И душа гулко зашлась в нем.

Судьба, будто продолжая наяву недавний сон в самолете, настигла его здесь, в этом лагерном зимовье,



в лице исчезнувшего тогда в ночь ареста вместе с братом — Ивана Загладина.

«Сон в руку, — сглотнул он жаркую горечь в горле. — Начинается история!»

А тот всё так же молча крутился вокруг гостей, всё потчевал, по временам взглядывая в сторону Золотарева, но, встречаясь с ним в упор, тут же отводил глаза.

Выдать себя словом или взглядом было для Золотарева смерти подобно: люди уходили в небытие и за куда более невинные знакомства. Но и тот, видно, по врожденной робости не жаждал обнаружить своего знакомства с московским начальством. Всё же, чтобы застраховать себя от любой возможной случайности, Золотарев заторопил разомлевших уже было спутников:

— Пора, товарищи. — Он встал и первым повернул к выходу. — Дорога дальняя, а времени у меня — сами знаете.

Выходя, Золотарев спиной чувствовал их неприязнь, но к этому он был равнодушен: не по рангу злоба. Уже выйдя, обернулся и, поверх голов понуро идущих за ним сотрапезников, перехватил взгляд стоявшего на пороге Ивана и окончательно понял, что тот узнал его, помнит, не держит зла.

По дороге Золотарев, как бы невзначай, спросил Шилова:

— За что хоть сидит-то твой малохольный?

— Вроде за секту и тянет. — В том еще бродило раздражение несостоявшегося застолья. — Ни за что не посадят.

Весь следующий путь Золотарев так и не проронил ни слова, он словно бы потерял всякий интерес к поездке, неясные предчувствия неотвратимой и грозной перемены в его жизни впервые легли ему на сердце, вызывая в нем глубокое, почти физическое отвращение ко всему окружающему.

Затем, в колготне встреч, заседаний, разъездов, Золотарев снова забылся, войдя в обычный азарт деловой круговерти, но в редкие минуты полного одиночества, в особенности по ночам, химеры прошлого опять принимались душить его, и он, охваченный смятением, искал хоть какого-нибудь дела, чтобы занять себя. Так или иначе, темные предчувствия не оставляли Золотарева, и, сам того не сознавая, он всеми способами оттягивал свой отъезд на острова. Временами ему мерещилось одно и то же навязчивое видение: вода, много воды и он в ней, в этой воде, как в аквариуме. Золотарев гнал от себя это бредовое наваждение, но оно, пробиваясь сквозь царившую вокруг него суету, вновь и вновь наваливалось на него, порою доводя его до тихой ярости.

Время шло, дни складывались в недели, матерело, набирало разгон душное лето, а Золотарев все еще торчал в области, петляя вокруг Байкала по самым захудалым хозяйствам. Москва не подгоняла, министр, видно, был доволен таким оборотом дела: чем меньше шума от возможного преемника, тем спокойнее. Тревожились, правда, Курилы — на его имя в Иркутск шел запрос за запросом, но это было не в счет: подождут!

Когда же откладывать отъезд долее стало невозможно: его задержка сделалась слишком заметной для окружающих, — он напоследок попросил Шилова отвезти его куда-нибудь, наобум, без цели и направления.

Выехав ранним утром, они почти до полудня кружили по приозерным дорогам: Байкал то исчезал из вида, то появлялся снова, будто звал, будто приманивал к своему прохладному берегу.

— Время запрапляться, Илья Никанорыч, — определил Шилов, кивнув в сторону часов на щитке. —

Тут поблизости рыбнадзор живет, мужик правильный, дело понимает, если не возражаете?

— Смотри сам. — За несколько недель круговых поездок Золотарев свыкся с прозрачно потребительским лексиконом своего временного водителя: на языке Шилова «правильный мужик», который «понимает дело», означало лишь степень очередного гостеприимства, не более того. — Только в меру.

— Кувшин меру знает, Илья Никанорыч, — сразу же оживился тот, сворачивая к берегу, — больше меры не нальет.

Безлесый берег полого спускался к воде, вернее, к камышу над водой, сплошным массивом уходившему далеко в озерный простор. Вскоре дорожная колея, выскользнув из-под колес, ушла в сторону параллельно озеру, а машина запрыгала по прибрежным кочкам к возникшему впереди у самой поймы камышовому же шалашу.

— Устраиваются люди! — возбужденно хохотнул Шилов, выбираясь из машины. — А тут крути баранку сутками, всю жизнь в бензине, как в дерьме. Сергеич!..

Сначала никто не откликнулся, тишина отозвалась лишь россыпью птичьего гвалта, потом сквозь камыш выявилась и тихо поплыла к ним навстречу выцветшая фуражка полувоенного образца:

— Петру Евсеичу, с большой кисточкой! — В узком проходе между зарослей обозначился нос лодки и сразу же вслед за этим стоящий в ней с шестом в руках рослый парень в брезенте с ног до головы. — Сколько лет, сколько зим!

— Вот гостя тебе из Москвы привез. — Шилов брал быка за рога. — Чем привечать будешь?

Парень почтительно сдернул брезентовую фуражку, обнажив большую, в льняной россыпи голову с ранними залысинами:

— Для хорошего человека всегда найдется, Петр Евсеич. — Парень с нескрываемым любопытством вглядывался в Золотарева. — Только чего ж тут, в духоте париться, на ветерку-то, оно, сподручнее. — Он коротким жестом пригласил их в лодку. — Погода нынче самый раз, подсаживайтесь, тут рукой подать...

Тесный проход в камышах постепенно расширялся, образуя ровной ширины извилистый коридор. В зарослях по обе стороны лодки чутко прослушивалась подспудная жизнь озера: поплескивала жирующая рыба, надсадно перекликались кряквы, хищная птица беззвучно высматривала сверху себе добычу. И от всего вокруг веяло мощью и полнотой животного естества.

Парень осушил шест, сел на весла и, как бы сопежеживая с московским гостем его теперешнее состояние, заговорил:

— Места здесь, что говорить, богатые, птичьего молока и то достать можно, была бы охота. Здесь человеку самая жизнь, вон братуха мой только к зиме если на берег вылезает, а так в камышах живет, чешуей оброс, в тине запутался, птичьим пером в зубах ковыряет. Скоро сами увидите, недалече уже...

Лодка вновь врезалась в камыши, парень взялся за шест, встал и, уверенно лавируя среди зарослей, вывел ее на небольшую скрытую со всех сторон от обзора водную прогалину, где в жесткой оснастке стоял плот, на котором возвышалось нечто схожее с будкой или легким сарайчиком.

Из сарайчика тут же объявился человек, как две капли воды походивший на их лодочника, только чуть старше, чуть тверже, чуть основательнее в кости, с выражением нескрываемой досады на небритом лице:

— Чего еще?

— Гостя тебе привез, Санек, — заметно заискивая, сообщил тому парень, — из самой Москвы.

— Ну.

- Не ближний свет, понимаешь?
- Ну...
- Принять бы следоват по-людски.
- Ну...
- То-то и оно.
- Ну...
- Так бы и сказал!
- Ну...

Каждый раз он вкладывал в это свое «ну» иной смысл, отчего создавалось полное впечатление диалога, разговора, собеседования. «Да, брат, — оглядываясь вокруг, сочувственно утвердился Золотарев, — поживешь в таком омуте, совсем говорить разучишься!»

За всё время их долгого столования бирюк так и не произнес другого слова, и лишь на прощанье, неуклюже пожимая протянутую Золотаревым руку, выдавил из себя в крайнем смущении:

— Если случится бывать... Мы с братухой за- всегда рады... В общем, не сумлевайтесь... Всяко бывает...

На обратном пути парень вздыхал, маялся, доверительно объяснял им про брата:

— До войны первым парнем по округе числился, без евонной гармошки ни одна гулянка не случалась, а с фронту пришел, будто зашибленный: хватит, говорит, всего нагяделся, ничегошеньки боле не хочу, глаза б мои ни на что не глядели! Задумываться стал. Может, контузило его, а может, еще чего. Благо, при- тулился у нас в рыбнадзоре, днюет и ночует в камы- шах, на люди совсем не показывается...

По дороге в Иркутск Шилов, осторожно прощу- пывая настроение сановного спутника, рассказывал:

— Таких чудачков, вроде этого Сашки, у нас хвата- ет, можно сказать, в каждой местности свой мало- хольный. Правду говорят: без чудачка земля не держит- ся. Однако не на том стоим, Илья Никанорыч, сами видели, какие дела в области завариваются, какие

люди в рост пошли! Дайте срок, прогремит Иркутчина...

Золотарев слушал вполуха, молча позволяя обкомовскому водителю отрабатывать напоследок свой хлеб. Сейчас ему было не до этого жалкого лепета, внутренне он как бы уже переместился в иные широты и другой мир: подземный гул Курильской гряды исподволь заполнял его, чтобы отныне сохраниться в нем до конца.

Мысленно освобождаясь от окружающего, Золотарев отмечал про себя те немногие в его судьбе ориентиры, на какие бы он мог обернуться в трудную для себя минуту, но сколько ни обозревал прошлое, всё позади сходилось в одной-единственной точке: Кира. В инстинктивной потребности обрести на будущее хотя бы призрачную точку опоры, Золотарев загорелся сейчас же, немедленно по приезде, позвонить ей, напомнить о себе, услышать от нее какие-нибудь, пусть самые пустяшные, но обязывающие их обоих слова. С этой горячечной мыслью он и простился с Шиловым у ворот обкомовской гостиницы.

Когда в прихожей ему сообщили, что его добиваются по телефону какие-то земляки по вопросу «государственной важности», он лишь поморщился от досады: «Знаем мы эти номера!»

— Ладно, успеется, — равнодушно бросил Золотарев. — Закажите-ка мне лучше Москву, вот вам номер телефона...

Но звонок обещанных земляков настиг его прежде, чем он успел дойти до своей комнаты. Золотарев было отмахнулся, но, снисходя к мукам дежурной, которая беспомощно единоборствовала с абонентом, взял трубку:

— Слушаю...

Из бессвязного, но напористого объяснения какого-то, заметно под хмельком человека, назвавшего себя уполномоченным главка, он понял, что где-то

под Иркутском пятые сутки стоит эшелон с его земляками из Узловой, будущими курильчанами, что стоять им обещано неизвестно сколько и что поэтому от него требуется срочное вмешательство. Факт землячества собеседник подчеркивал с особенной старательностью, и это было неприятнее всего.

В другой раз Золотарев не преминул бы поставить на место напористого толкача, но сейчас, в ожидании разговора с Кирой, ему не терпелось отделаться от просителя как можно короче и проще.

— Возвращайтесь к эшелону, — приказал он и поспешил пресечь попытку собеседника продолжить разговор. — Повторяю, возвращайтесь к эшелону, завтра тронетесь. Всё.

Телефон зазвонил тут же, едва Золотарев положил трубку, и, что было еще удивительнее, Кира подошла сама. Он вдруг поймал себя на том, что волнуется:

— Здравствуй, это — Илья.

— Что с тобой, Золотарев? Где ты?

— Я из Иркутска.

— Так что же все-таки случилось, Золотарев?

— Просто решил позвонить.

— Невероятно, Золотарев. Ты? Мне? Из Иркутска? Невероятно.

— Но факт.

— Ты стареешь, Золотарев.

— С чего ты взяла?

— Становишься сентиментальным.

— Давай всерьез.

— Сколько угодно, но долго ли ты выдержишь?

— Кира, возьми себя в руки.

— Хорошо, я слушаю тебя, Золотарев.

— Как ты живешь?

— И это всё?..

В таком духе они проговорили еще минут десять, и лишь наспех попрощавшись, он с горечью осознал,

что лучше бы ему было и не начинать этого разговора вовсе.

Золотарев долго не мог заснуть. Никогда еще он не чувствовал собственное одиночество, отъединенность от всех остальных так остро, так ощутимо. Оказывается, на этой земле больше не осталось живой души, которая бы ждала его или хотела видеть в простоте, без дела, корысти, задней мысли. Вокруг него зияла пустота, вся в призраках и руинах минувших встреч, неначатых дружб, несостоявшихся связей: он уйдет, исчезнет, превратится в прах, в пыль, в пепел, не оставив после себя ни следа, ни памяти. И горше всего для Золотарева было сознавать, что эту долю он выбрал себе сам, что у него давно не осталось ни сил, ни желаний что-либо исправлять в своей судьбе и что завтра утром он встанет и, не сожалея ни о чем, двинется дальше, по той же наклонной плоскости.

«Надо будет завтра нажать на путейцев, — проваливаясь, наконец, в сон, решил Золотарев, — действительно, безобразие!»

### 3

*«Здравствуйте, любезный брат мой Матвей! Во первых строках своего письма радуюсь сообщить, что вашими молитвами, слава Богу, живу хорошо, чего и вам желаю. Душевно уповаю, что доехали вы до места в добром здравии и спокойствии. Лето тут у нас выдалось жаркое, сушь кругом стоит такая, что не приведи Господи. Жизнь моя катится со дня на день в трудах и молитвах, конец срока скоро, только пустят ли, всё в руках Вседержителя нашего, оставят, значит, воля Его нести мне крест этот дальше, как нес его досе, но в кресте моем есть, однако, радость душевная способствовать ближним страждущим в узилище, чего по мере возможности*



делаю каждодневно. Донимают, правда, мытари в разных чинах и званиях, да ведь завецивал нам Все-вышний, а Иван Осипыч, наставник наш, наказывал: «кесареву кесарево». Сам Христос мытаря жаловал, а нашему брату грешному совсем незазорно, среди них всякие бывают, иной раз даже с совестью, жалуют узников, сердцем открыться норовят, только я, сами знаете, давно зарок дал не расточать душу в суетовици, в молчании много услышать можно, такие бездны, такие горные выси у людей внутри открываются, что передать боязно. Намедни наведовались ко мне гости из области, а с ними, сами не поверите, Илья Золотарев, погубитель Ивана Осипыча, в большие начальники вышел, другие кругом него выюном крутятся, я его сразу признал, в прежнем облике, заматерел только, пока столовались, он всё глаза прятал от меня, тоже признал, значит. Не нам судить его, брат, ему совесть его судья, а коли глаза прячет, жива она у него, зудит внутри, томится человек смертной мукою. Много нынче таких-то вот, грехом прибитых, но не затоптанных, живут, грешат, маются, прорастают сызнова сквозь самих себя, не убили, значит, душу живу, выстоит, опять к Богу подыметя. Наше дело, брат, пастырское, поспособствовать только, недаром в Писании сказано: «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Пишу я это, брат, к тому, что, по застольному разговору судя, направляется Илья в ваши местности наводить суд и порядок, по этой причине не держите на него сердца, коли судьба сведет, во имя Господне и слово наставника нашего Ивана Осипыча, видно, и так приходит его час, тоска у него в глазах смертная, чернота в облике проступает, дух серный идет, не нам грешному в душу соль сыпать. Письмо это доставит вам верный человек, вчерашнего дня освободился, едет к вашему морю, счастья попытаться. Остаюсь завсегда ваш, меньшей брат Иван, Христос с вами».

*«Я не знаю, почему они разрешили мне эту маленькую поблажку, но уж коли это случилось, внук, я хочу попроситься с тобой. Сегодня четвертое июня тысяча девятьсот сорок пятого года, запомни это число. Уверен, что это наше последнее свидание. Не думаю, что тебя свяжут со мной, ты слишком молод для этого, за тобой ничего нет. Я уверен, что ты выживешь, у тебя еще все впереди, ты еще вернешься и увидишь наших, а я уже одной ногой там, коли они не убьют, умру сам по себе, без их помощи. Жалею только, что это случилось с нами так неожиданно и нелепо. Я ожидал всего, кроме предательства, подлой измены офицерскому слову. Если выживешь, опиши всё, что увидишь, услышишь, с кем встретишься, опиши без прикрас, не сгущай красок, но и не ругай доброго, а главное, не ври! Расскажи только правду, даже если она будет кому-нибудь не по вкусу, горькая правда лучше сладкой лжи. Слишком долго и слепо наша эмиграция занималась самовосхвалением, самоутешением, самообманом. Мы всегда боялись взглянуть в глаза истине, признаться себе в своих заблуждениях и ошибках, мы всегда переоценивали свои силы и недооценивали врага. Если бы можно было начать сначала, всё было бы иначе. Но, видно, и в этом Промысл Божий, закончить наши дни здесь. Вы — молодые — должны сделать выводы из наших ошибок, шапками коммунистов не закидаешь, для борьбы с ними нужны другие средства, другие слова, иной подход. Хватит сидеть по заграничным кофейням и ломать копыя в пустой междоусобице, пора понять, что корень наших ошибок в нашем общем разброде. Смотри вокруг себя,*

внук, но, упаси Боже, ничего не записывай, да тебе и не позволят писать, не такие это люди. Но даже если представится возможность, ни-ни: ни записочки, ни заметочки, употребляй голову, как записную книжку, как фотоаппарат. Ничего не забывай, здесь всё невероятно важно, каждая деталь, каждая мелочь. От Лиенца до сего дня, весь крестный путь свой по мукам запоминай. Мир должен узнать правду, что совершилось и что еще совершится, от измены и предательства до конца. И ради Бога, не воображай себя большим мыслителем или беллетристом, не делай глубокомысленных заключений, не давай поспешных оценок, не спеши с приговорами! Пусть это делает за тебя читатель. Не гонись за четкостью формы, за красотой слога, это дано немногим, будь просто Николаем Красновым, летописцем своей судьбы. Простота, искренность, милость к падшим будут твоими лучшими советниками. В свое время, ты знаешь, я написал множество книг, которые пришлось совсем не по вкусу нашим нынешним хозяевам. Опусы мои переведены на семнадцать языков. Кстати, уже сегодня, на первом допросе у меня спрашивали, откуда я брал свои типы и материалы, есть ли у меня еще что-либо изданное или неизданное и где находится. Разумеется, они от меня ничего не добились, но ты должен знать и запомнить, что у бабушки, Лидии Федоровны, хранится манускрипт повести «Погибельный Кавказ». Я посвятил ее нашему русскому юношеству. Если выйдешь отсюда живым, внук, издай эту книгу в мою память. Многое с тобой еще может случиться на твоей Голгофе, но что бы с тобой ни случилось, беги греха ненависти к своей стране, к своему народу, как геенны огненной. Не Россия и не русский народ виновны в том, что с ними случилось. Их предали тогда все: и собственные вожди, и союзники. Сначала те, кто стоял между престолом и ширью народной, а потом уж и те, кто по долгу

*чести обязан был помочь им в беде. И как мог я, после всего этого, поверить бывшим союзникам во второй раз! Ведь они ненавидят Россию лютой ненавистью, за ее молодость, за ее силу, за ее великодушные. Но зря эти господа надеются, что им удастся задушить ее руками большевиков. Россия была и будет. Не та, не в боярском наряде, не в сермяге и лаптях, но она возродится вновь во всем своем могуществе и красоте, Господь не попустит! Можно уничтожить миллионы людей, им на смену народятся новые, народ не умрет, и всё переменится, когда придут сроки. Не вечно же будет жить Сталин и его присные, умрут и они, придут новые люди и наступит перемены. Воскресение России наступит не сразу, не вдруг, такое громадное тело не может исцелиться мгновенно, но в конце концов она всё же воспрянет и снова поднимется на свои могучие ноги. Жаль, что я уже не доживу до этого дня. Помнишь, внук, наши встречи с солдатами в Юденбурге? Хорошие, душевные ребята. Вот это и есть Россия, родной, не в чем мне их обвинить, отцы их не знали, что творили. А теперь, давай прощаться, внук. Не довелось мне иметь прямого потомства, но все Красновы близки мне, как единокровные. Жаль, мне нечем тебя благословить, ни креста, ни иконки, всё отобрали. Дай я тебя хотя бы перекрещу, во имя Господне, да сохранит Он тебя. Прощай, внук, не поминай лихом, береги имя Красновых. Имя это небольшое, небогатое, но обязывает ко многому. Прощай!»*

## 2

Он закрыл папку с грифом «Совершенно секретно. Следственный отдел МГБ» на служебной записи свидания Петра Краснова с внуком Николаем, сделанной ровно год назад. Остальное его не интересовало. Част-

ности следствия были ему безразличны, в частности поускай копаются правовики, это их хлеб.

«Прекраснодушный болван, — невольюно передернуло его, — Манилов в генеральских погонах! Будто не в тюремном предбаннике, а в будуаре жене исповедуется, всё выболтал, от чего потом на следствии отпирался, борец липовый, сидел бы себе лучше дома, пасьянс раскладывал».

Бывший генерал представлял для него чисто академический интерес. Поначалу он никак не мог понять, уразуметь, взять в толк, как, почему, какого чёрта кадровый военспец, плодовитый писатель, эмигрант, поневоле поднаторевший в политике, мог ввязаться в столь обреченное дело? И лишь теперь, после знакомства с этой записью, всё встало на свои места. Оказывается, старый хрен дряхлеющим своим умишком заранее вычислил ничейный вариант: насолить большевикам напоследок, а затем скрыться под гостеприимное крылышко их союзников, хорош гусь, ничего не скажешь! Видно, короткой памятью обладал господин атаман, что поверил джентльменским заверениям своего английского собрата: будто «честное слово» что-то значит в большой политике, будто сам не давал этого самого «слова» Дыбенке в Гатчине! Они не постеснялись выдать на расправу даже кавалера ордена Бани Андрея Шкуро, личность, по их «гуманным» законам, неприкосновенную. Слава Богу, он изучил «джентльменство» своих «союзников» на собственном опыте. За четыре года войны они не раз представляли его на произвол судьбы, невозмутимо напрашиваясь ему в друзья, как только военное счастье поворачивалось лицом к Восточному фронту. Подлая порода базарных торгашей в смокингах, с апломбом, который мгновенно улетучивается в разговоре с победителем. По гнусной своей природе, этот политический сброд способен преступить все Божеские и человеческие заповеди, одна трусость мешает. Теперь же, когда его танки стоят на Эльбе, они ему, напряги он только голос,

не только Шкуро с Красновым, собственного короля выдадут, лишь бы дожить свои дни в иллюзорном убеждении, что они свободны. Не рассчитал, на этот раз, атаман, обмишурился! Видно, старость берет свое, головой сдал, надеется на суд и благодарность потомков, цивилизация рушится, а тот всё о скрижалях печется, в анналы попасть норовит, нашел себе Пимена, у сосунка еще молоко на губах не обсохло, ему там не то что писать, чихнуть лишний раз не позволят, не успеет дед дотащиться до петли, как внучок загнется сам где-нибудь в районе Колымы, не вешать же их вместе, в самом деле, молод еще с генералами на одной виселице болтаться, чести много!

Из всей группы казачьих генералов и офицеров, переданных ему англичанами, его, собственно, и занимали только эти двое — Краснов и Шкуро. Об остальных, кроме разве что Султан Килеч Гирея, он раньше никогда не слышал, составив себе представление о них по лапидарным характеристикам следствия, обогащенным его, как ему всегда казалось, безошибочной интуицией.

Младших Красновых он просто не брал в расчет (потянулись за дедом в силу семейной инерции или, если пользоваться их языком, традиции!), Доманова и Головку для него заранее не существовало (элементарные перебежчики, невыполотый чертополох тридцатых годов, шире надо было захватывать, глубже рубить!), Султан Гирей тоже не вызывал в нем раздумий (по себе знал кавказскую злопамятность, горбатого могила исправит!), фон Паннвиц был им сразу зачислен в категорию военных преступников (пруссак остается пруссаком, жаждет юнкерская душа офицерской смерти: голубая мечта лопнула!). В соответствии с этим, выделив только в отдельный список двух Николаев Красновых — отца и сына (слишком мелкие сошки!), он и определил каждому из них меру наказания: петля! Это следовало сделать для острастки союзников и

в назидание выжившей из ума эмиграции, чтоб не-повадно было!

Оставалось еще двое — Соломахин с Васильевым. И если в первом случае всё, более или менее, выглядело естественным, — начальник штаба, второе по положению лицо в армии, считал себя обязанным разделить ответственность с командующим, то во втором дело обстояло куда сложнее. Снова, как и в случае с Петром Красновым, возникало несколько настораживающих «почему»? Почему наспех произведенный в генеральский чин штабной офицер с таким упорством и вопреки очевидности старается убедить следствие, что является инициатором, создателем и вдохновителем всего дела в целом и военного союза с немцами в частности? Почему, пренебрегая доказательствами, берет всю вину на себя и выгораживает подельников? Почему, наконец, так безоглядно сам лезет в петлю?

Ни в какие альтруистические порывы он не верил, оставляя эту блажь на совести священников и романистов, поэтому тотчас запросил подробную справку о Васильеве с приложением оперативных данных из-за рубежа, но сведения, полученные оттуда, ни на иоту не прояснили сути.

В Париже у Васильева оставались молодая и, судя по всему, горячо любимая им жена, сын — теперь уже семи лет, — в котором тот души не чаял, сравнительно обеспеченная крыша над головой. В непривычной для себя среде приживался легко, владел тремя языками, знал автомеханику (одно время даже водил такси), разбирался в финансах и делопроизводстве (несколько лет служил секретарем у экстравагантного дельца русского происхождения, некоего Гинзбурга), был принят в политических кругах Зарубежья: ни одного изъяна, ни одной зацепки, какие бы оправдывали позицию, занятую подследственным.

В конце концов он, как это обычно бывало с ним в таких ситуациях, ограничился тем, что оставил ре-

шать эту головоломку течению времени, заменив отчаянному генералу смертную казнь лагерем, а заодно, чтобы не вызывать сомнительных кривотолков среди своих подчиненных, присовокупил к тому и Соломахи́на, как бы отделив этим степень вины штабников от строевого состава, принимавшего непосредственное участие в боевых операциях: пускай-де, мол, господа тыловые стратеги проветрят себе засохшие мозги на нашем советском лесоповале!

И хотя судьба пленных была решена им в самом начале, он вновь и вновь возвращался к ним мыслью, точнее к двум первым — Краснову и Шкуро. За тридцать без малого лет, минувших с тех пор, как жизнь свела его с ними по разные стороны одной баррикады, где решалось тогда, кому из них править, а кому оплакивать прошлое в европейских кофейнях, судьба обернулась не в их пользу, но и теперь, спустя годы и годы, размытый давностью облик этих людей властно притягивал его, вызывая в нем смутные видения, отголоски, отзвуки той восхитительной поры, когда мир, разламываясь в крови и крике, казался та́ким податливым и простым. Сам того не замечая, он уже смотрел на них глазами окружающих, судивших сейчас о прошлом по ходовой литературе времен Гражданской войны и кинофильмам на ту же тему. Хотелось ему того или нет, но в конечном счете и он, и они очутились на одной странице истории, только в разных ролях, состояниях, ипостасях, и от этого нерасторжимо́го соседства им отныне уже некуда было деться.

Его влекло, тянуло взглянуть на них, убедиться в их не отвлеченном, реальном существовании, попытаться, хотя бы в оптическом самообмане, сместить границы времени, оказавшись лицом к лицу со своим прошлым. Он долго противился иссушающему соблазну, но однажды всё же не выдержал, позвонил Бери́и:

— Слушай, я хочу их видеть.

— В любое время, Сосо.



- Но так, чтобы они не знали об этом.
- Как прикажешь, Сосо.
- Послезавтра в полночь.
- Где ты хочешь, Сосо?
- Сделай, как в прошлый раз.
- Я привезу их, Сосо.
- У меня всё...

Время от времени тот устраивал ему такие свидания здесь же, у него за стеной, в просмотровом кинозале. Под покровом ночи арестованных скрытно доставляли сюда, где они, в полной уверенности, что находятся в очередном отделе Лубянки, оставались наедине друг с другом.

Он наблюдал за ними сквозь проекционное окошко, мстительно упиваясь своей недостижимостью и душевной агонией поверженного врага. В последний раз привозили в этот зал Власова со штабом. Сцена состоялась столь тягостная, что даже его, привыкшего, казалось бы, ко всему, при одном воспоминании о ней, невольно мутило. Правда, в отличие от казачьей головки, с этими, согласно указанию сверху, следствие не стеснялось: к ним применялся весь арсенал физической обработки.

Обоих атаманов должны были доставить сегодня. В ожидании урочного часа он придвинул к себе папку текущих бумаг, открыл ее и углубился в чтение. С самого верха лежал проект приговора захваченному в Маньчжурии японскому командному составу, представленный военной прокуратурой. Мелькали диковинные имена, труднопроизносимые названия, иероглифы подписей. Взгляд его скользнул мимо всей этой пестроты, прямо к итоговой рекомендации. Прокурорская братия, по обыкновению страхуя себя от любых случайностей, без разбору предлагала высшую меру социальной защиты, оставляя вариации его капризам и великодушию. Выучились, сукины дети!

По близкой ассоциации в памяти всплыла его апрельская встреча с рыбаками, где он выделил, взяв себе на заметку, подбористого парня, косая сажень в плечах, преданный свет в васильковых глазах, и ему сразу вспомнилось, что давно собирался запросить подробный обзор по этому району вообще.

Он нажал кнопку вызова и, глядя в стол перед собой, привычно уверенный в том, что помощник уже стоит на пороге в подобострастном ожидании приказа, произнес:

— Срочно закажи мне толковую справку по Сахалину и Курилам, попроще и покороче, без болтовни, прочту на ночь. — Затем, всё также глядя в стол, протянул тому прочитанный только что проект приговора. — Верни по месту, японцы, говорят, давно Сибирью интересуются, дадим им возможность изучить положение на месте, в тайге. Всё.

И снова принялся за бумаги.

### 3

Ровно без двух минут двенадцать тоненько, даже нежно проворковала вертушка:

— Готово, Сосо, — коротко сообщил Берия, — когда прикажешь начать?

— Иду.

Он неспешно поднялся, прошел через боковой выход в наглухо замкнутый с обеих сторон коридор и, дойдя до самого упора, толкнул впереди себя маленькую дверцу в стене. Здесь в затемненной коробке проекционной будки его уже ждал Берия:

— Можно начинать, Сосо?

— Вали.

Сначала в зал впустили Шкуро. Маленький, почти тщедушный, в полураспоротом чуть не по всем швам мундире, тот, недоуменно озираясь, лихорадочно

закружился по проходу между столиками, то и дело упрямо потряхивая молодившим его льняным, с проседью чубчиком. Было в нем что-то вызывающе мальчишеское, отчего с первого взгляда трудно было определить, сколько же ему на самом деле лет.

— Петр Николаич, голубчик, — бросился тот вдоль прохода навстречу вдруг возникшему в глубине зала Краснову, — как я рад вас видеть! — Он порывисто приник к старику, кудлатая голова его прилась тому по грудь. — Как вы? — Тут же отстранившись, он продолжал бережно держать Краснова за руки. — Как вы себя чувствуете? — Забрасывая того вопросами, Шкуро с тревожной заботливостью вглядывался в него, будто искал в нем подтверждения каким-то своим тайным догадкам. — Вы, часом, не знаете, зачем нас сюда привезли?

— Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Григорьич, дорогой вы мой! — Старик явно еле держался, лохмотья мундира свисали на нем, словно на восковой фигуре. — Мне сказали, что будут уличать нас какими-то секретными кинодокументами. — Он снисходительно пожал плечами. — Однако, в чем именно, никто не говорит. Моя жизнь прошла на виду, обо всем, что я делал и думал, написано в моих книгах, вы тоже, кажется, никогда не были рыцарем плаща и кинжала, но у них, сами знаете, свои правила. — Тяжело припадая на одну ногу, он потянулся к креслу. — Сядемте, Андрей Григорьич, дорогой, в ногах правды нет, да уж и не держут ноги-то. — С помощью Шкуро генерал опустил за столик, чуть отставив вытянутую перед собой сухую ногу в проход. — Так-то лучше...

Сидя перед проекционным окошком, он вдруг разглядел алый лампас на обтрепанной брючине Краснова и ему неожиданно вспомнилась конкурсная экспозиция нового обмундирования перед введением в армии погонов и офицерства. Господи, чего там тогда ни было понаворочено! Провинциальная фантазия домо-

рошенных костюмеров превзошла самоё себя: в стремлении перещеголять друг друга они понатащили в тот день в очищенный для этой цели от кресел Георгиевский зал такого радужного хлама, что после осмотра этого павлиньего царства ему оставалось только руками развести. Помнится, он приказал тогда доставить на выставку полный комплект формы царской армии и, бегло окинув взглядом офицерский ряд с шестью пуговицами по каждому борту, распорядился одну пуговичку срезать, оставив прочее в полной сохранности, чтобы отныне было о чем еще рассказывать очевидцу окружающим и потомкам!..

А разговор в зале шел прежним чередом:

— Я не страшусь смерти, Петр Николаич, — горячо доказывал тому Шкуро, — я, можно сказать, с ней всю жизнь в обнимку жил, об одном жалею, не в бою — в подвале или в тюремном дворе умирать придется!

— Ах, Андрей Григорьич, Андрей Григорьич, — укоризненно покачивал вялой головой Краснов, — не всё ли равно, где умирать, лишь бы с чистой совестью.

— Вы, Петр Николаич, европеец, писатель, интеллигент, у вас дом — целое человечество, а я казак, крестьянин, мне майская ночь в Тихорецкой дорожке социального блаженства и благополучия малых сих. Как вспомню, чем степь весной пахнет, сердце рывается!

— Не скажите, Андрей Григорьич, не скажите, — голос старика дрогнул, — я ведь еще и донской атаман, у меня тоже сердце казачье, не забыло оно хлеба отчего. Только зачем мучить себя понапрасну, Андрей Григорьич, ничего уже не изменишь, нам с вами перед Господом представать скоро, успокоиться надо, душу приготовить, молиться...

Чутко вслушиваясь в этот разговор, он невольно задавался вопросом, есть ли, найдется ли на свете че-

ловек, которому, попади они вдвоем в такой же смертельный переплет, его расположило бы вот так же сокровенно, словно на духу, открыться, излить душу? Перебрав в памяти десятки имен и лиц, он в конце концов с разъедающей сердце горечью вынужден был признаться себе, что нет — нету.

Даже тому, кто сидел сейчас у него за спиной и кто, связанный с ним одной кровью и одной тайной, казалось бы, готов был за него в огонь и в воду, он не доверился бы не только сердцем, помыслом единым, уверенный, что тот продаст и предаст его при первой же возможности, не моргнув даже глазом из-под пенсне.

— Спасибо Господу, что свидеться удалось перед смертью, теперь мне и умирать легче, Петр Николаич.

— И мне тоже, Андрей Григорьич, и мне тоже, я вас любил и ценил высоко, вы это знаете.

— Голубчик вы мой, Петр Николаич!

— Буду молиться за вас, дорогой...

Зрелище становилось ему неважно. Он поднялся и, срывая досаду, с безапелляционной грубостью выговорил в темь за спиной:

— Доставь господам это удовольствие, дай им взглянуть на родные пенаты, пусть полюбуются перед смертью, устрой свой судебный театр где-нибудь на Кавказе.

— Где ты скажешь, Сосо.

— Выбери сам. — Но перед тем, как выйти, на мгновение задумался и уже из коридора бросил через плечо. — Лучше в Пятигорске...

Когда он вернулся в кабинет, на столе у него уже лежала тисненая папка с аккуратной веленовой наклейкой: «Сахалин и Курильские острова» (общий обзор).

Вскоре деловое чтение увлекло его, и он, незаметно для себя, выключился из окружающего.

«1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстояние от Сахалина до Москвы водным путем и железной дорогой через Владивосток равняется 10417 километров. Между Москвой и Сахалином разница во времени составляет 8 часов. Расстояние между северной оконечностью острова — мысом Елизаветы и южной — мысом Крильон — 948 километров. Самая большая ширина острова — 160 километров, средняя — около 100 километров. Самое узкое место на юге — всего 27 километров. От материка Сахалин отделяется проливами Татарским и Невельского, Амурским лиманом и Сахалинским заливом. Проливы соединяют между собой два моря — Охотское и Японское. У юго-западного побережья Сахалина расположился небольшой скалистый островок Монерон. Со стороны Охотского моря к Сахалину примыкает остров Тюлений. Южнее Сахалина с юго-запада на северо-восток расположены Курильские острова. От самого южного Кунаширского пролива, отделяющего Курильскую гряду от Японии, до северного острова Шумшу — 1200 километров. Цепь Курильских островов — это верхняя часть вулканической гряды, выступающей из воды на 1-2 тыс. м и уходящей в глубины океана более чем на 10 км. На Курильских островах 39 действующих вулканов. Самый высокий из них — Алаид, его высота 2339 м. От южной оконечности Сахалина — мыса Крильон — до японского острова Хоккайдо наименьшее расстояние — 40 км, а от острова Кунашира до Хоккайдо — всего 17,5 км. Сахалин, 56 островов Курильского архипелага, острова Монерон, Тюлений — всё это может составить одну административно-территориальную единицу. Площадь области — 87,1 тыс. кв. км. Это почти в 3 раза больше площади Бельгии, в 2 раза — Швейцарии, больше Австрии или Ирландии.

...«Ирландии... Ирландии... Голландии... Финляндии... Курляндии... дии... дии... дии...». Полуслово, будто на заезженной пластинке буксовало в ослабевающем сознании, и он судорожным усилием воли цеплялся за этот надоедливый звук, пока в конце концов вновь не пришел в себя...

2. ПРИРОДА И КЛИМАТ. Значительная часть территории занята горами. На сотни километров в меридиональном направлении простерлись Западно-Сахалинские и Восточно-Сахалинские горы. Высота их достигает 1609 м. Поверхность острова изрезана густой сетью небольших и неглубоких, за исключением Тыми, Пороная и Лютоги, горных рек, которых насчитывается около тысячи. Общая протяженность их — почти 22 тыс. км. Реки — быстрые, порожистые, с большим количеством водопадов. Самый высокий водопад Илья Муромец — 140 м. На островах (включая Сахалин) 7 тыс. озер. Общая площадь их составляет десятки тысяч гектаров. На севере преобладают озера неглубокие, с низкими, заболоченными берегами. Вдоль северо-восточного побережья цепочкой тянутся озера морского происхождения — волны прибоя намыли песчаные валы-дюны, которые навсегда отделили заливы от моря. Вода в этих озерах солоноватая, а растительность по берегам — бедная. В поймах рек много озер- стариц, в которых обитают ценные животные — ондатры и выдры. Весной и осенью на озерах скапливаются тысячи перелетных птиц — уток, гусей, лебедей. На Курильских островах в кратерах потухших вулканов встречаются горячие озера. Почвы — преимущественно бедные, с низким содержанием питательных веществ — лугодерновые почвы долин, бурые лесные и горно-лесные почвы сопок, горных склонов, увалов, надпойменных террас и водоразделов. Сахалин и Курильские острова входят в зону муссонов умеренных широт. Однако климат здесь значительно суровее по сравнению с другими областями умеренного пояса. Вследствие меридионального расположения, температурный режим характеризуется большой неравномерностью. В средней части среднегодовая температура воздуха составляет около  $-1,5^{\circ}$ , в южной  $+2,2^{\circ}$ . На севере острова в январе средняя температура колеблется от  $-16^{\circ}$  до  $-24^{\circ}$ , на юге — от  $-8^{\circ}$  до  $-18^{\circ}$ . Самым теплым месяцем является август, когда средняя температура в северной части колеблется от  $+12^{\circ}$  до  $+17^{\circ}$ , в южной — от  $+16^{\circ}$  до  $+18^{\circ}$ . Наиболее холодными районами являются Поронайский, Тымовский и Охинский. В зимнее время морозы здесь достигают  $-40$  —  $-50^{\circ}$ . Однако летом в этих районах температура воздуха иногда поднимается до  $+35^{\circ}$ . Зима снежная и продолжительная. Весна затяжная, холодная, с поздними снегопадами и туманами. Лето сравнительно короткое, дождливое и прохладное — сказывается влияние льдов, которые в этот период уносятся течением из Охотского моря на юг вдоль вос-

точного побережья острова. Осень солнечная и преимущественно теплая. Большое влияние на климат оказывают огромные водные пространства, окружающие острова, холодное Охотское течение, идущее вдоль восточного побережья Сахалина, и теплое — Цусимское, достигающее юго-западного берега острова, а также гористый рельеф местности и близость Азиатского материка. Несмотря на то, что Курильские острова расположены между широтами Киева и Сочи, климат здесь, особенно в северной части, отличается суровостью и большой неустойчивостью. Это в решающей степени определяется тем, что острова Курильского архипелага находятся между Охотским морем и Тихим океаном, а также близостью холодного течения Оясио. Господствующее направление воздушных потоков меняется два раза в год вместе со сменой центров атмосферного давления. Зимой холодные массы воздуха с материка устремляются к океану. Поэтому на Сахалине и Курильских островах в это время преобладают северные и северо-западные ветры, стоят крепкие морозы. Летом охлажденные воздушные массы движутся в обратном направлении — с океана на континент и, проходя над островами, приносят много осадков, поэтому лето здесь прохладное и влажное. Годовое количество осадков на Сахалине и Курильских островах достигает тысячи и более миллиметров.

У него внезапно закружилась голова, что в последнее время случалось с ним довольно часто, текст поплыл перед глазами, сливаясь с текучую мешанину. Приспосабливаясь к этому состоянию, он по привычке закрыл глаза и постарался расслабиться в полном бездействии. Как всегда в таких случаях, к нему из потаенных закоулков памяти потянулась цепь полузабытых видений.

Ему грезилась зимняя ночь в Курейке: кружевная стужа в квадрате оконца, порхающие по стенам отсветы печного пламени и на лавке у двери громоздкая фигура завернувшего к нему на огонек жандарма из местных полукровок. Гостем тот бывал нечастым, заглядывал, объезжая побережье, скорее от скуки, чем по службе, говорил медленно, будто через силу, но с неизменным подковырцем:



— Чудной ты человек будешь, паря, сидишь тут сиднем, быдто бирюк какой, вроде нашего брата, чалдона, без гульбы, без компании. Вон побрательники твои в Турухани, почитай, день и ночь гудут без передыху, слова друг дружке сказать не дают, все Рассею обмозговывают, как ей — матушке — быть-стать, без их, вишь, так думают, не обойдется. — Прикидываясь, словно откашливается, гость скользнул усмешкой в кулак. — Однако, насчет баб ты, слышно, востер, одну, слышно, обрухатить исхитрился, хотя, чего там, дурацкое дело нехитро...

Даже в полубеспамятстве его невольно передернуло: эту рыхлую девку с сонными глазами на плоском лице он не мог вспоминать без брезгливой дрожи. Девка изредка приходила к нему для уборки, пяточок поденно при шести казенных рублях в месяц холостому ссыльному не в убыток, и однажды, уступая его мужской слабости, она с ленивой покорностью легла с ним, после чего уже напрашивалась в гости сама, обихаживала даром, по-семейному и вскоре от него понесла.

Сын от этой связи, зеркально походивший на отца, вертелся сейчас сотой спицей в его колеснице, где-то между радиокомитетом и отделом пропаганды центрального аппарата, не напоминая ему (слава Богу, хватает ума!) о своем существовании.

Если бы знать тогда, какая судьба предстоит ему впереди, скольких оплошностей и стыдоб можно было бы избежать, чтобы не терзаться теперь попусту их унижительной неловкостью!

Но прошлое упрямо тянулось за ним, напоминая ему о его собственной бренности, о сходстве своем со всеми другими, о тщете и бессмысленности вокруг. И от всего этого он тосковал и томился...

3. РЕСУРСЫ. На островах Сахалинской области в непосредственной близости друг от друга расположены место-

рождения нефти, природного газа и каменного угля, торфяников и известняков, золотоносных и титаномагнетитовых песков, железных, хромистых, марганцевых и медных руд, серебра, киновари и графита, вулканической серы, пемзы, мрамора, редких металлов и многих других полезных ископаемых. Одним из важнейших минерально-сырьевых ресурсов области является уголь. Общие геологические запасы угля на островах определены в 12,4 миллиарда тонн, 52% из них составляют бурые угли. Большая часть общих запасов залегает на глубине до 300 метров и может добываться открытым способом. Здешние угли разнообразны по своему составу. Наряду с коксующимися, имеются тощие, жирные, длиннопламенные, газовые. Они характеризуются высокой теплотворной способностью — около 8-9 тыс. калорий, низкой зольностью, легкой обогатимостью, хорошей спекаемостью и небольшой сернистостью. Ряд углей содержит высокий процент смолистых веществ. Это открывает возможность перерабатывать их в жидкое топливо. Ценнейшее богатство острова — нефть и газ. Это — пока единственный на Дальнем Востоке район, располагающий значительными разведанными запасами этого важнейшего сырья. Запасы нефти на островах, по прогнозам ученых, составляют сотни миллионов тонн, а газа — несколько триллионов кубометров. Около 60 тыс. кв. км. территории являются перспективными на нефть и газ. Крупные месторождения нефти находятся на северо-востоке Сахалина: Эхабинское, Катанглийское, Колендо, Сабо, Тунгор и др. Многие из них — нефтегазовые. Сахалинская нефть по своим качествам уникальна: легкая, малосернистая и малопарафинистая, содержит большое количество ценных светлых нефтепродуктов и может служить так же, как и газ, хорошим сырьем для химической промышленности. Область богата залежами торфа. Площадь торфяного фонда составляет около 410 тыс. га, запасы торфа-сырца, по далеко не полным данным, превышают 4 млрд. куб. м. Разведка новых площадей позволит увеличить их в 2-3 раза. Зольность торфа в большинстве своем невысока, составляет 3-6%, горнотехнические условия для эксплуатации месторождений благоприятны. Промышленное значение из металлических полезных ископаемых имеет золото. Россыпи его встречаются в Восточно-Сахалинских горах, в долинах рек Лангери, Иулейки, Дербишева и их притоков. По содержанию золота они не уступают большинству месторождений Дальнего Востока, а по химической чистоте — превосходят их. Перспективными районами на золото являются северо-западная часть Сахалина, верховья рек

Тыми и Пороная. На Курильских островах открыты месторождения титаномагнетитовых песков, рудопроявлений меди, свинца, цинка и содержащихся в них редких элементов индия, галлия, таллия, есть признаки платины, ртути и других металлов. Неметаллические полезные ископаемые представлены самородной серой, цементным сырьем, строительными материалами. Большие запасы серных руд с довольно высоким содержанием серы обнаружены на Курильских островах. Базой для развития цементной промышленности является Гомонское месторождение известняков. Его запасы оцениваются в 50 млн. тонн. Строительные материалы представлены различными породами камня, глин, песками, гравийно-галечниковыми отложениями, пемзой. В районах нефтяных месторождений встречаются асфальтовые озера. Значительное распространение имеют подземные пресные, термальные и минеральные воды. Они являются источниками централизованного питьевого и технического водоснабжения, могут быть использованы для теплофикации поселков и городов, выращивания овощей в парниках и на открытом грунте.

4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. Здесь произрастают лиственница, полярная береза, ель, дикий виноград, кедровый стланник и бархатное дерево. Западные побережья островов резко отличаются от восточных своим богатством растительного мира. Растут крестовник дланелистый, шеломайник камчатский, гречиха сахалинская достигает здесь 3-4 м высоты. На севере острова произрастают кустарниковая ольха, ягель, лишайники, узловатые лиственницы с изломанными кронами. На юге можно встретить растительность, характерную для средних районов страны и даже субтропиков: дуб, ясень, калопанакс, аралию, дикорастущие ягодники, повсеместно в диком виде встречаются заросли черной смородины и малины. На Сахалине и Курилах есть немало редких видов растений, являющихся остатками древней флоры, таких, как элеутерококк, диморфант, магнолия, калина Райта, ель Глена, тис, орех Зибольда. Флора области насчитывает 1400 различных видов растений. Многие из них являются лекарственными. Основным растительным богатством Сахалина является лес. Он занимает свыше 43 тыс. кв. км или более половины всей территории острова. Здесь насчитывается около 200 видов деревьев, кустарников или деревянистых лиан. Наиболее распространены елово-пихтовые леса, состоящие из аянской ели и сахалинской пихты. На севере встречается даурская лиственница. Имеются большие площади, занятые березой белокорой и каменной. Общий

запас древесины составляет почти 650 млн. куб. м, в том числе спелого и перестойного леса свыше 500 млн. куб. м, или почти в 1,5 раза больше, чем в соседних областях Дальнего Востока. Среднегодовой прирост древесины на одном гектаре составляет около 2 куб. м. Высококачественная древесина тайги пригодна для строительства, предприятий бумажной и деревообрабатывающей промышленности, производства фанеры, мебели и для других нужд народного хозяйства.

**5. ЖИВОТНЫЙ МИР.** Из 296 видов млекопитающих, зарегистрированных в Советском Союзе, на островах имеется более 80 видов. В тайге обитают ценные пушные звери — выдра, белка, лисица, горноста́й. На высоких лесистых хребтах с крутыми утесами и каменистыми россыпями можно встретить соболя, имеющего важное промысловое значение. Водятся здесь заяц-беляк, бурый медведь, северный олень, кабарга. На Сахалине и Курильских островах встречается более 300 видов птиц. На некоторых из них гнездятся целые колонии кайр, чаек, бакланов, образуя «птичьи базары». Промысловое значение имеют куро́патки, рябчик, глухарь, гусь, утка. В водах Японского, Охотского морей и Тихого океана, омывающих острова, обитают котики, сивучи, нерпы, встречается до пятнадцати видов китов, в том числе голубой, гренландский, финвал, сейвал, кашалот, дельфин, касатка, белуха. Сахалинско-Курильский бассейн является одним из крупных рыбопромысловых районов. Основными объектами промысла, составляющими до 90% общего годового улова, являются сельдь, камбала, горбуша, кета, минтай, сайра, скумбрия, треска, навага, терпуг, палтус, краб, кальмар, гребешок, котик, сивуч, нерпа, морские водоросли — ламинария и анфельция. Важное значение имеют также корюшка, кунжа, таймень, красноперка, бычки и некоторые другие виды рыб.

Он опять оторвался от чтения: заметно сказывалась усталость. В его жизни давно миновали те летучие времена, когда он был способен безвылазно высидеть за столом по восемнадцать часов в сутки, чтобы после короткого сна в боковушке вновь вернуться на место.

Теперь же, и с годами все чаще, к концу рабочего дня физическая слабость настигала его, и он, незаметно для самого себя, периодически отключался от

окружающего, отдаваясь во власть туманных призраков и химер.

«...Виды рыб... виды рыб... виды рыб...» — отпечатывалось у него в замирающем мозгу, а перед глазами плыла, качалась зимняя Москва в девственной пороше и светозащитной тьме...

Тонкий снежок поскрипывал у него под сапогами, легкий морозец щипал за уши, тишина вокруг казалась такой хрустальной, что закрой только глаза, могло почудиться, будто он — в кои-то веки! — прогуливается по городу один на один с собой, без охраны и провожатых. Но две ровных шеренги солдатских сапог текли по обеим сторонам от него, определяя ему направление и цель его пути.

Уже перед самым Новодевичьим он поднял голову и, скользнув взглядом по солдатской шпалере сбоку от себя, внезапно встретился глазами с рослым ефрейтором, заключавшим шеренгу у ворот монастыря. Сержант смотрел на него в упор, с деревянной самозабвенностью (точь-в-точь, как недавно вот этот туляк Лаврентия!), но в какую-то долю мгновения, сквозь эту служебную самозабвенность на него излился вдруг такой заряд знойной ненависти, что он не выдержал и впервые за много лет отвернулся первым.

Потом он сидел на низенькой скамеечке возле могильной плиты, с угрюмо опущенной головой, уносясь мыслью прочь от этой могилы, далеко за кладбищенские пределы, туда, откуда сдвигалась вокруг него смертная петля ненависти, ненароком выплеснутая на него только что этим злосчастным ефрейтором. «За что? — мысленно вопрошал он себя. — Ведь не для себя же, в самом деле, для них старался!»

Но затерянный где-то в сокровенном тайнике души голос упрямо переиначивал: «для себя!»

И поэтому обратный путь его от могилы жены до Боровицких ворот Кремля, через ночной город, между

двух войсковых шпалер был тяжек и одышлив, как подъем в гору...

6. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Россия начала осваивать Сахалин и Курильские острова в то время, когда другие страны ничего не знали об их существовании или имели о них самое смутное представление. К моменту прихода на эти земли русских землепроходцев здесь не было еще никаких государственных образований, а немногочисленное коренное население жило разрозненно. Сейчас установлено, что впервые русские люди узнали о Сахалине в сороковых годах XVII в. Географические описания и карты того времени свидетельствуют, что ни в Европе, ни в Азии о Сахалине и устье реки Амур не было никаких реальных представлений. В 1639-1641 гг. отряд казаков Ивана Москвитина оказался в низовьях Амура. Анализ текста документов позволил достоверно установить, что зимой 1639/40 г. на реке Улье (Охотское побережье) местные эвены впервые сообщили русским о существовании «островов Гилятцкой орды». Выход И. Ю. Москвитина и В. Д. Пояркова к берегам Тихого океана явился одним из важнейших географических открытий XVII в. Большой вклад в исследование и освоение дальневосточных земель внес отважный русский землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. В 1649 г. во главе отряда казаков и «охочих» людей вышел он из Якутска и в течение 5 лет путешествовал и изучал Приамурье. Посланные в 1652 г. для связи с Е. П. Хабаровым казаки под командой Ивана Нагибы разминулись с ним и вышли в Амурский лиман и Сахалинский залив. Они не только подтвердили сведения, полученные отрядами И. Ю. Москвитина и В. Д. Пояркова, но и обогатили их новыми данными об острове. Уже вскоре на нескольких сибирских географических чертежах появилось изображение Сахалина в виде острова. Почти одновременно с Сахалином были открыты и начали осваиваться Курильские острова, заселенные «самовластными», т. е. никому не подчиненными, айнами-курилами. На языке айнов «кур» значит «человек». Отсюда произошло и само название островов. Важнейшим этапом в изучении Курильских островов был поход казачьего пятидесятника Владимира Атласова в 1697 г. В 1711 г. камчатские казаки под командой Данилы Анциферова и Ивана Козыревского на малых судах и байдарках посетили острова против «Камчадальского Носу». Петр I разработал специальный план изучения и заселения вновь открытых дальневосточных земель. По его указанию была направлена первая

морская Курильская экспедиция Евреина и Лужина (1719-1722 гг.). В 1799 г. по идее Григория Шелихова была создана крупнейшая торгово-промышленная Российско-американская компания, которая вплоть до 1867 г. управляла русскими владениями на Тихом океане от Аляски до Японии, включая Алеутские, Курильские острова и Сахалин. В декабре 1786 г. Екатерина II издала указ о снабжении первой русской кругосветной экспедиции — «для охранения права нашего на земли, российскими мореплавателями открытые», и утвердила инструкцию, в которой было приказано «обойти лежащие против устья Амура большой остров Сагалин Анга Гата, описать его берега, заливы и гавани, равно как устье самого Амура, и, поскольку возможно, приставая к острову, наведаться о состоянии его населения, качества земли, лесов и произведений». Экспедиция состоялась в 1803 г. Возглавил ее Иван Крузенштерн. Корабль Крузенштерна, подойдя к Сахалину, 14 мая 1805 г. бросил якорь в заливе Анива. Крузенштерн детально исследовал остров, ознакомился с жизнью айнов, роздал им подарки. Летом этого же года участники экспедиции Крузенштерна описали и положили на карту все восточное и северо-западное побережье Сахалина, а также 14 островов Курильской гряды. Это была первая карта в мире, на которой острова в целом обрели свои истинные контуры. Г. И. Невельский обследовал восточные, северные и северо-западные берега Сахалина, фарватер Амура и установил, что устье его доступно для морских судов. Между мысом Лазарева на материке и мысом Погиби на Сахалине был открыт судоходный пролив, впоследствии названный именем Невельского. «Сахалин — остров, вход в лиман и реку Амур возможен для морских судов с севера и юга». В тот же год Невельский, отплыв из Аяна на транспорте «Охотск», подошел к заливу Счастья и заложил на его берегу зимовье, которое назвал «Петровским», а затем основал в устье реки Амур военный пост «Николаевский». В 1853 г. исследователь Д. И. Орлов по указанию Невельского основал первый на островах русский военный пост Ильинский. В начале второй половины прошлого столетия международная обстановка на Тихом океане существенно изменилась. Россия была заинтересована в установлении добрососедских отношений с Японией, которая находилась в непосредственной близости от ее восточных границ. 22 января 1855 года в городе Симода был подписан первый русско-японский трактат. По этому трактату большая часть Курильских островов сохранялась за Россией (граница была установлена по проливу между Урупом и Итурупом), а Саха-

лин остался неразделенным. Симодский трактат явился началом установления дипломатических отношений между Россией и Японией. 25 апреля 1875 года был заключен Петербургский договор, по которому Япония, признав права России на весь Сахалин, получила в обмен все Курильские острова. В 1905 году японский десант высадился на Сахалине. Для захвата острова японское правительство выделило значительные по тем временам силы: 12 батальонов, эскадрон и пулеметную команду общей численностью 14000 солдат и 18 орудий. Десантные части располагали 40 морскими судами. В первые же дни боев, уступая превосходящей силе, губернатор Сахалина генерал Ляпунов вместе со своим штабом сдался в плен. 23 августа 1905 года русское правительство подписало Портсмутский договор, по которому и южная часть Сахалина отошла к Японии. Положение это сохранялось вплоть до освобождения этих районов Советской армией».

«Солидный плацдарм для начала, — по прочтении вновь подумал он о Золотарева, — есть, где развернуться, проявить себя. — И, мельком взглянув на часы в углу, стал подниматься. — На сегодня хватит».

За окном занималась крошечная ночь июня, от Рождества Христова тысяча девятьсот сорок шестого года.



В майском небе, на высоте птичьего полета, плавно раскачиваясь, плыла лошадь. В корявой клетке, наспех сколоченной из свежего горбыля, она казалась снизу естественно вознесенным над землей существом из другого, еще неведомого здесь мира, настолько спокойно и величаво блистали сквозь широкие щели досок ее мерцающие глаза.

Лошадь плыла, покачиваясь, в майском небе, а кругом, чуть не от береговой кромки до самых высоких зубцов окрестных скал, многоярусно громоздился гулкий и долгий город с лесом мачт и подъемников почти по всему подножью.

Видно, берег в этом месте Азии когда-то сильно накренился, и океан хлынул в прибрежные горы, заполняя собой каждую впадину, каждый закоулок, каждое отверстие окружающего материка. С тех пор крутая подкова образовавшейся бухты представляла собой причудливое кружево лагун, островков, заводей. И над всем этим с рассвета до сумерек трепетно тянулась сизая или голубая, в зависимости от погоды, дымка, марево, фата-моргана.

Пожалуй, Федор, хоть и покружило его по разным странам и городам, едва ли мог бы назвать место богаче и просторнее, если бы не ощущение, причем почти неосознанное, сквозящей вокруг тревоги или, вернее, настороженности. Здесь человек чувствовал себя как бы на постоянном прицеле, в незримой западне, в петле, в загоне. Словно там, у стрелок последнего semaфора перед вокзалом, за каждым входящим и въезжающим тут же опускался некий занавес, который делил мир на две уже непреодолимые половины.

Федору, может быть, долго пришлось бы доискиваться истока, причины этого состояния, если бы действительность сама не выявилась перед ним.

Пирс, где в ожидании погрузки сгрудилось вместе с пожитками сотни полторы семейств, вдруг еле заметно ожил и тут же опять, но уже недобро, затих: так улитка, едва высунувшись, вновь спешит втянуть свой страх в надежную бездну раковины. Но, даже спрятавшись, страх продолжал тянуться тоскующим взглядом в ту сторону, откуда в молчаливом окружении собак и конвоиров сворачивала из портовых ворот к соседнему пирсу безликая серо-черного цвета колонна: быстрее, быстрее, быстрее! В молчаливой их полурыси было что-то испуганно угрожающее, отчего головокруглительно перехватывало дыхание и на сердце принимались гулять ознобистые сквознячки.

Колонна, наподобие гармошки, сначала стремительно растянулась вдоль берега, а затем, чернея, плотно собралась у соседнего пирса.

— Са-а-адись!

Резко горбясь и выгибаясь, плотная масса стала быстро оседать книзу, пока, укрошенная, не сникла совсем: черная лента на сером фоне пирса и голубом — моря. Черная ветошь, черные лица, и даже запах, исходивший от нее, казался Федору черным.

В этом скоплении почти неразличимых лиц не было для Федора ничего сколько-нибудь примечательного. На многодневном пути от Москвы до Владивостока он пересекался с такими же множеством раз: то в окне забранного колючей проволокой вагонного люка мимолетного товарняка, то целым скопом на убегающей от состава таежной прогалине (даже разглядеть не успеешь как следует, как их уже и след простыл), то четко, с подробностями — на корточках у подъездных путей, в ожидании кого-то или чего-то. Они примелькались, стерлись в обзоре, стали частью пейзажа, метой дороги, принадлежностью повседневного быта.

Но сейчас его вдруг неодолимо потянуло к ним — этим взглядам исподлобья, этим лицам без черт, этому горькому и нечистому запаху. Всё происходило, как во сне, когда всякое сопротивление только обостряет тягу к близкой неизбежности. Была не была!

Федор шагнул к этой безликой черноте, и вдруг голова его медленно пошла кругом, а в ушах гулко и горячо зазвенело: из этой черноты перед ним явственно выделилось и обрело контуры одно-единственное лицо, вроде бы и не отличавшееся сильно от других — голодно запавшие глазницы, жесткая щетина на истонченных щеках и долгий взгляд, только не наружу, а вовнутрь.

Но даже, если бы оно — это лицо — изменилось еще более, Федор узнал бы его из тысячи: взводный! Взводный Сан Саныч — вечная улыбка от уха до уха, с неизменной добавкой чуть не к каждому слову «значит» и отчаянной, почти до горячки, бесшабашностью...

Где было забыть Федору ту смертную оборону среди Пинских болот! Он и сейчас еще, едва вспомнив, ознобливо повел плечами, будто в одно мгновение заново пережил всю стылую промозглость снежной зимы сорок третьего года. Их плотно зажали тогда среди мерзлых кочек, без надежды когда-либо выкарабкаться, обогреться и передохнуть. Сутками выгревали они собой стылую топь, а закадычный кореш его, взводный Сан Саныч, горячо дышал ему в полуобмороженное ухо, хрипло похохатывал, ерничал:

— Эх, Федька, нам бы с тобой сейчас двух баб на разжижку, за милую бы душу раскочегарились! И чего ты, Федька, такой мерзлячий, какие твои кровя, у меня моча и то теплее. Ты ворочайся, ворочайся, сукин сын, ты что здесь, ночевать думаешь? Не деревяней, не деревяней, брательник, у нас еще войны впереди от пуза, нам главком одних пайков задолжал недели за две, а то и больше. У тебя еще девок неперепорченных на деревне вагон остался, сыграешь в ящик, на том свете пожалеешь...

Под лихорадочную скороговорку взводного в теплое окочение Федора вливалось душное свиридовское лето, и колокольчики на косогорах позванивали у него над головой: «Я у маменьки жила, не едывала кокочки, таперя эти кокочки бьют меня по попчке». Частушка была дурацкая и неизвестно откуда возникшая, но всё повторялась и повторялась в памяти, словно раз и навсегда заведенная пластинка.

Звук оборвался так же неожиданно, как и возник, и сразу вслед за этим, будто мгновенный переход из ночи в день, начался кромешный ад: казалось, болота вокруг сами по себе вздыбились и, пробудившись от морозной спячки, пустились в смерчевой пляс. Такой артподготовки Федору не доводилось переносить ни разу с начала войны. Их расстреливали почти в упор, без жалости и передышки. Багровый свет вспыхивал и мерк перед глазами, и от необоримой жути холодно мокли ладони: злой страх медленно отогревал тело. Федор знал это состояние, за три года фронта он уже привык к тому томлению ожесточенности, когда на смену первому замешательству вдруг приходит и жарко заполняет сердце синяя тяжесть ненависти.

В миг очередной вспышки Федор искоса выхватил из светового круга торжественно четкое, без привычной улыбки, упрямое лицо взводного и скорее почувствовал, чем услышал его короткую команду:

— Двинули!

Тело Федора сделалось обугленно легким, почти невесомым, он даже не вскочил, а прямо-таки взлетел над промерзлыми кочками, и они, как в бреду, рванулись вперед, сквозь этот взрывающийся ад, через его черный пламень и прогорклый дым, навстречу хоть и призрачному, но желанному спасенью.

— Ура-а-а-а!..

Когда он упал, он не почувствовал ни боли, ни самого падения, его просто накрыла тьма, и во тьме

перекатывалась из конца в конец задыхающаяся хрипотца взводного:

— Шел Федор с гор, воз на себе пёр... Ну и дерьма в тебе, братишка, в корове меньше... Ты на меня ложись, выволоку, я двужильный... Я, брат, заговоренный, меня ни вода, ни огонь не берет...

Федор плыл вместе со своей тьмой, слушал знакомый голос, думая с вялым раздражением: «Ну, чего плетешь, чего плетешь, не деревенский ведь, только притворяешься».

Знать, он, конечно, знал мало (Сан Саныч — душа нараспашку — в душу к себе никого не пускал), но догадывался, что взводный его совсем не «Ванька» и соображает не хуже генерала, а может, и выше. Уж больно не по званию разговаривал его лейтенант с начальством (эдак свысока, с ухмылочкой, для постороннего, впрочем, почти незаметной), уж больно не по чину книжки на отдыхе почитывал, уж больно не по возрасту думал много между байками да улыбочками. «Эх, Сан Саныч, Сан Саныч, — частенько жалел про себя Федор взводного, — не сносить тебе головы, свою ли ношу на плечи берешь!»

Поэтому когда после госпиталя, уже в Восточной Пруссии, Федор, вернувшись в часть, узнал об аресте взводного, то не удивился этому, хотя долго еще потом горевал по нем и печалился: «Вот тебе и заговоренный, выходит, правду старики говорят: от сумы да от тюрьмы не отрекайся. Какой парняга ни за понюх пропал!..»

Всё это в миг пронеслось в нем, осело горечью, отстоялось, и он не выдержал, потянулся в сторону бывшего взводного:

— Слышь, лейтенант... Сан Саныч, не узнаешь, что ли?

Тот даже глазом не повел, только поежился, продолжая смотреть перед собой и в себя, а конвоир уже надвигался на Федора с автоматом наперевес:

— А ну, осади назад! Делаю первое предупреждение, твою мать!

— Браток, — заспешил, заторопился Федор, — понимаешь, взводный мой вроде тут, позволь два слова сказать. Сам воевал, видно, у меня с ним фронтовой узелок...

Насмешливые, зеленого отлива глаза смотрели на Федора в упор, не мигая, словно и не видели его вовсе:

— Твои лейтенанты нынче на пеньках стойку делают да волкам хвосты крутят. А ну, осади!

Федор почувствовал вдруг, что задыхается. Знакомая, белая, сводящая скулы ярость бросилась ему в голову и радужно застелила глаза. Беспamięтно взбывшись, он двинулся на конвоира:

— Ах ты, гнида вохровская, вошь тыловая, ну нажми, нажми гашетку, курва, или только в спину можешь? — Федору чудилось, что он истошно кричит, но на самом деле говорил почти шепотом. — Чегой-то я тебя, рвань вологодскую, на фронтах не видал, видно, некогда было, людей не успевал в расход пускать? Ну, пальни, пальни попробуй, или духу только на двор ходить хватает?..

Неизвестно, чем бы всё это кончилось (а кончилось бы, судя по всему, плохо: несколько ближних овчарок, плотоядно поскуливая, уже рвали поводки из рук надзорслужбы, и зеленоглазый, осмелев, решительно спустил предохранитель), но в момент, когда, казалось, неминуемое должно было случиться, оттуда, с другого конца пирса, прозвучало зычное:

— Подыма-а-ай-йсь!

Замершее было черное чудище колонны тут же ожило, принимаясь волнообразно распрямляться и выравниваться. Хвост колонны еще колыхался, утаптываясь на месте, а голова ее уже отплескивалась узкой цепочкой по трапу лендлизовской самоходки, под окрики конвоя и собачий скулеж.

— Твое счастье, — облегченно бросил ему на ходу конвоир, подаваясь к колонне, — ты бы у меня сплясал на мушке. — И уже в сторону строя: — А ну, разберись в затылок, господи фашисты!

Федор в последней надежде еще потянулся взглядом за взводным, но тот ничем — ни жестом, ни движением — не ответил ему: вместе со всеми поднялся и, чуть сгорбившись, уткнулся глазами под ноги. Колонна медленно стронулась, потекла вперед, а заодно с нею стронулся и потек вперед бывший взводный и вскоре слился со строем, черный и неразличимый, как пепел в хлопьях сожженной бумаги. «Эх, жизнь наша, — в сердцах скрипнул зубами Федор, — какого человека загубили!»

— Что ж ты на рожон-то лезешь, сукин сын! — замельтешил вокруг Федора отец, слепо смаргивая слезящимся глазом. — Нынче таких, как ты, быстро в память приводят. Перед ими маршала носом землю роют. Думать надоть...

И до того слякотно, до того мутно было в эту минуту на душе у Федора, что он не вынес, не выдержал, оборвал отца — впервые, пожалуй, в жизни:

— Пошел, ты, батя, к едрене бабушке, надоели вы все мне хуже горькой редьки!

Тот, видно, сразу понял сыновнее томление, отошел молча, сник, стушевался.

А в майском небе, на высоте птичьего полета, всё так же плавно раскачиваясь, плыла лошадь, и печаль ее загнанных глаз благостно изливалась вниз, на людей, на землю.

Вода за иллюминатором стояла стеной, время от времени высвобождая для обзора кусочек низкого, в серой пелене неба. Едва приспособленный под пасса-

жирские перевозки грузовой трюм раскачивало чуть ли не под прямым углом. Обшивка судна скрипела и потрескивала, словно яичная скорлупа в чьих-то сильных, хотя и осторожных ладонях. Временами чудилось, что бока не выдержат, треснут по всем швам, расплзутся, не сдержав натиска. Кто-то стонал, кто-то ругался, кого-то рвало вниз, под нарамами, часто, остервенело. Вещи, взбесившись, ожили, тесня и осаждая людей по всем закуткам и закоулкам. И в этом треске, столах и ругани какой-то чудак всё же ухитрялся с пьяненькой невозмутимостью тренькать на балалайке:

Я к солдатке на ночевку  
Прихожу не впопыхах:  
Первый парень на Сычевку,  
Вся рубаха в петухах...

Ему — этому балалаечнику, вроде и дела не было до того, что творилось вокруг, он вроде и не выезжал никогда из своей деревни, а в окружающей толчее оказался случайно, по пьяной лавочке:

...Первый парень на Сычевку,  
Вся рубаха в петухах...

Федор сидел в ногах у бабки, придерживал ее сбоку, стараясь по возможности уберечь старуху от качки. Привычно держа руки поверх стеганого, из цветного лоскута одеяла, она смотрела прямо перед собой острыми, сухого блеска глазами, и бескровные губы ее судорожно шевелились. Бабка говорила сама с собой о чем-то своем, одной ей ведомом и понятном. Что ей грезилось сейчас, на исходе жизни, за тысячи верст от родимой деревни, на краю мыслимой ею земли, этой тульской девочке неполных восьмидесяти лет? Сквозь восемь без малого десятков осенних паутин, избородивших ее пожухшее лицо, сквозь голубой туман горячки, через слепотную пелену она прозревала сейчас



что-то постоянное и окончательное, простые тайны судьбы, детские истины людской суеты, чистый тлен жития человеческого: мокрые галки на блистающем после плуга суглинке, прогорклый дым весной над яблонево́й порошей, душная щекотка сухого сена на дальних покосах и подол в спекшейся крови после первого родильного беспамятства. Тени, призраки, видения прошлого звали ее туда, откуда уже не возвращаются. Из праха выйдя, во что обратишься ты?

Тяжелые, в жесткой окалине, совсем не женские руки бабки мерно подрагивали, словно она то и дело прикасалась к чему-то острому или горячему. Сколько Федор помнил себя, весь свой сознательный век, лопатистые бабкины ладони всегда служили ему надежным ориентиром дома, знаком тепла, фамильным залогом их дела и рода. Прошлое откладывалось сейчас в нем, будто набор цветных фотоснимков: бабка ставит на стол чугу́н с дымящейся картошкой; она же в хлеву, с вилами в руках, по щиколотки в навозной жиже, ладная, смеющаяся, в легкой кацавейке нараспашку и съехавшем на плечо платке; мокрое белье, распластанное на прибрежном камне, утренне сизый туман над водой, и в этом тумане, словно две большие, темно-коричневого отлива лопасти, ловко плавают бабкины руки; заскорузлые пальцы ее, в который раз перебирающие пожелтевшие бумажки в заветной, из мягкой жести коробке: мужнину похоронку, два-три письма, безликие фотки тридцатилетней давности; вот он у старухи в охалке визжит от крапивной боли, застигнутый в жарком малиннике: «Не кради, не кради, жиган, спроси у бабки, сама даст!» Господи, когда это было, да и было ли это вообще? Тщета, тщета, тщета!

Бескровные губы старухи всё шевелились и шевелились, складывая одной ей слышную речь, но постепенно Федор проникся ее взыскующей мукой, и слова, сложенные ею, наконец, отозвались в нем:

— Пожить хочу, Господи, почитай и не жила вовсе, быдто родилась только, и в одночасье помирать надо, чем же я прогневала Тебя, Господи, хоть год бы еще миновал. Тебе жалко, что ли, а мне, старухе, всё радость белый свет поглядеть, как родилась, нигде не бывала, весь век на деревне своей промыкалась, на земле горбатила, из навоза не вылезала, с зарей ложилась, с зарей вставала, помню осьнадцати годов еще...

— Может, чего надо, ба, — попытался Федор пробиться к ней, — скажи, ба...

— Господи, — не слышала, не видела она его, — не гневайся на меня, старую, что я виновата рази, что пожить еще охота, хоть чуток, ить чего в Сычевке-то наплетут, сорвалась, мол, на старости, вот-де Бог и покарал, а ить я за детьми, за внуком вот, потянулась, куды ж мне одной-то век вековать, перед смертушкой и воды подать некому, какая такая моя доля...

— Бабушка...

— Господи, не взыщи с горемычной, сама себя клянущу, да остановиться силов нету, нечистая сила крутит...

— Ба...

— Господи, быдто у маменьки я еще в люльке...

Она обессиленно затихла, а вместе с ней укрошалась и болтанка, переходя в плавную перевалку. Лицо ее обмякало, разглаживалось, принимало светлоземлистый оттенок. Истончившийся лоб подернуло холодной испариной, нос заострился и посинел. Она еще дышала, еще теплилась живой плотью, но дух жизни уже расставался с нею, и никакая сила в мире не могла отныне остановить этого расставания.

Федор растолкал отца:

— Батя, — тот, измученный качкой, обморочно дремал на полу, среди скарба, уткнувшись в колени жены, которая тоже в полузабытье клевала носом, — слышь, батя, присмотри за бабушкой, вздремнула вроде.

У того только и хватило силы, чтобы согласно мотнуть головой и тут же вновь отвалиться в бессильном изнеможении.

К выходу он пробивался сквозь почти непроходимое нагромождение разномастного скарба и распластанных тел. И всё это ходило ходуном: стонало, ругалось, плакало. В общем чаду выделил Федор чью-то раскрытую шахматную доску, желтой птицей прыгающую среди всего окружающего бедлама. Эта доска была так нелепа здесь, так неуместна, что ему самому впервые сделалось мутрно.

А в дальнем углу чей-то пропитый тенорок все еще утверждал под балалайку, что он-де, именно он и никто другой, «первый парень на Сычевку, вся рубаха в петухах».

Только на палубе Федор полной грудью вдохнул свежего, влажного воздуха, и огляделся, и замер сердцем: море вокруг гудело и дыбилось, в этой, казалось бы, бессмысленной пляске проглядывалась какая-то целенаправленная сила. Трудно было предположить, что это была за сила и куда ее несло, но темная глубина, ощущаемая в ней, обещала путнику горные выси и великие бездны. Это — как сны в детстве, после болезни, когда порою стоишь у такой тьмы, у таких пещер огненных, что хочется, ой как еще хочется, прикоснуться, а даже руку протянуть боязно.

Здесь же, в клетях, притороченных к палубе, колотилась всякая живность: куры, утки, гуси, овцы, коровы, лошади. В крытом закуте для коровы примостились даже клетка с двумя кролями. Почти по-человечески мучительное страдание этого царства вызывало щемящую жалость. В сыром ветре родной запах навоза и животного испарения ощущался особенно резко. Прощай, Сычевка, но помни — я вернусь! Если бы ему знать тогда!

Федор протянул было ладонь в коровью клеть, чтобы прикоснуться к возбужденному сейчас зеркаль-

цу телки, ощутить под пальцами его нежность и теплоту, чуть успокоить ее, наконец, но в это время кто-то требовательно толкнул парня под локоть:

— Ты чо здесь?

Федор обернулся, но под брезентовым капюшоном, кроме сивой бороденки, ничего не разглядел:

— А ты чо?

— Сторожую.

— А чего сторожевать-то, не украдут.

— Не украдут, а глядеть надоть, ненароком сорветь.

— Так не удержишь ведь?

— Удержать — не удержу, а подмогу кликну, остатнее выручим.

— Сам откуда?

— С-под Ожерелья, а что допытываешь, документ е?

— Чо, папаня, ослеп совсем, документов моих не видишь? — и Федор глазами указал тому на «иконостас» над правым карманом своей гимнастерки. — Я за этот самый «документ» четыре годика в землянках вшей давил.

— Много вашего брата нынче с эдакими документами шастает до первого уполномоченного. — Но все же смягчился. — Подымить е?

— Бери, — широким жестом Федор выкинул перед ним пачку «Беломора». — Бери пару.

Мужик довольно хмыкнул, взял, откинул капюшон, обнажив крупную голову в старенькой солдатской шапке, под которой оказалось совсем еще не старое лицо с синими глазами и малость ноздреватым уже носом. Старательно разминая папиросу, он заботился ни табачинки не рассыпать, долго и с явным удовольствием обнюхивал ее со всех сторон, пока, наконец, с неменьшим удовольствием прикурил от протянутой Федором трофейной зажигалки:

— Раз предсельсовет угощал, а боле не доводилось. — Он ослабил в блаженной улыбке свои желтые, крепкие опять же, зубы. — Как люди живут, куды нам при нашей темноте!

— Шапку-то носишь, на фронте был? — Федору хотелось завязать хоть какой разговор, лишь бы не спускаться туда, в ту вонь и ругань, и даже балалайка там, с ее дурацким припевом, вызывала у него здесь, на палубе, одну только злобу, не более. — У кого?

— Не, — безоблачно и охотно ответил тот, — у мене язва. С издетства еще. Я и по малолетству желудком слабый был, а как пошло-поехало, колхозы да голодуха, тюря да лебеда, совсем ослабел. — Беседа вроде бы погасла сама по себе, еще и не начавшись, но тот вдруг сам словоохотливо взял ее в руки. — Я в эту самую заваруху, в семнадцатом, в парнях ходил, вскорости и обженился, никому века не зажил, света не застил. Баба мне попалась как баба, ни красы в ей той не было, ни ленивая, ни работающая, а так, с серединки на половинку. Только, парень, сильно я ее любил, без нее жить не мог, присохла моя грешная душа к ней, будто кузнецким железом намертво припаяло: кайлом рви — не оторвешь, гвоздодером тяни — не оттянешь. Только это нынче, а тогда жили навроде всех людей: землю работали, хлеб когда был — ели, детишками распложались. Деревня наша, от трубы до трубы — воробью раз сигнуть, осьнащать дворов, как отдать, избенки все мелкота, ни одного пятистенника, и церкви тожеть нету, одно, понимаешь, названье, что деревня. Какие мы там никакие, а тожеть — люди. И что это за напасть такая на человека, — он даже как бы всплеснул или, вернее, пытался всплеснуть руками: уж больно неудобно в его брезентовом плаще колом было это сделать, — не могут в ладу на белом свете жить. Как пошло тогда, как поехало в семнадцатом, то да се и крутится. А по нашей-то деревеньке вшивой, времечко золотое-то

такой косою да этаким кистенем прошлось, что любодорого! В самую первую голодуху закатилась к нам ватага не ватага, команда не команда, а так, ватажонка, команденка одна — восемь рыл, как на подбор: «Давай хлеб!» А иде его тогда, хлеба-то того, нам взять было, только родить оставалось. Почитай, в каждой избе покойник али полпокойника. Тряхнули и мене, грешным делом. Хорошо тряхнули, славно, — «хорошо» он произнес врястяжку, будто для прыжка напрягался, и чуть побитые ноздри его яростно вздрогнули, — век помнить буду... Только зачем ее-то восемь лбов, очередью, ить не жалезная... Вот она тебе язва моя, даром оставляю, я добрай...

И двинулся себе, даже капюшона не натянул, по шатко-валкой палубе, будто в лобовую двинулся.

«Лезешь с разговорами, — объявил себя Федор, — нарвешься когда-нибудь, болтун — находка для шпиона!»

И тоже повернул, но только в другую сторону, туда, в ад, в чад, в ругань и плач, в дребедень балалаечную, и новое, неизвестное дотоле смущение властно входило к нему в душу.

### 3

Отец сказал:

— Будя, вылезай, чего рыть, всё одно там камень, сплошь камень, вот земля-то, прости Господи, тьфу.

Земля и впрямь была короткая, до пояса доберешь — камень, причем такой, хоть на кремни. Но зато на запах и цвет Федор — а уж он-то покружил по свету — ничего подобного до сих пор не встречал: больше на торф походила, только другой крепости и окраски — черная, с синеватым отливом, с запахом давно остывшей печи.

Вдвоем с отцом они опустили бабку в эту землю, разогнулись и молча замерли, как бы оценивая свою работу. Но это им только казалось, если казалось вообще. Просто в эту короткую для них минуту они расставались с чем-то таким, что уже не возвращается: с зовом чьего-то праха, с тенью чьей-то радости, с теплом зимних вечеров, запахом свежее испеченного хлеба, рвущим легкие дымом далекой Сычевки, да разве можно высказать все, о чем думает человек в эту минуту!

Ее, этой старой девочки гроб, сколоченный на скорую руку из подручного материала, плыл в убогой могиле, словно детский кораблик по талой воде, и никто его уже не направлял, и негде уже ему было остановиться. Господи, что же это такое: судьба, рок, предназначение, чтобы сычевская, в тридесятom колене крестьянка отдавала Богу душу на бывшей японской земле без креста и покаяния? Господи, утоли ея печали!

Мать не плакала, даже не причитала по обычаю, а только сухо смотрела перед собой, и такое запрокинутое отчаяние стояло у нее в глазах, что всё вокруг как бы увядало и старилось.

— Ладно, будя, — буркнул отец, чуть покосившись в ее сторону, — заваливай, все там будем. — И первый принялся за работу: резко, нахраписто, с каким-то непонятным остервенением. — Пожила.

В две лопаты они быстро накрыли бабку, выровняли и даже обложили холмик заваливающим деренком. Потом отец выдернул с ближнего пригорка какую-то местную диковинку с пузырчатым стволом, вкопал ее в могильное изголовье и лишь после этого отряхнулся, охолонул, отмяк:

— Ну вот, всё как у добрых людей. — Он почувствовался, глядя на свою работу, мягко засветился весь. — Наш брат тоже не без понятия. — Он вновь

поискал глазами в сторону жены. — Пошли, мать, чего уж там, не наплачешься.

Та, действительно, словно заведенная, поднялась, повернулась и двинулась к поселку, а он подался за ней, стараясь и не оказаться назойливым, и в то же самое время всем своим видом убедить ее, что он, ее муж, здесь, рядом, и «тоже понятие имеет», и в случае чего окажет себя.

Со стороны эти заходы его могли показаться немного смешными, но Федор-то доподлинно знал, что любит отец свою бессловесную жену, до беспмятства любит, хоть, видно, двух слов ей ласковых за всю жизнь не сказал, век в страхе держал, характер показывал, и поэтому, глядя на них сейчас, парень вновь и вновь проникался к ним обоим острой, до ломоты под ложечкой, нежностью: «Дал Бог родителей, водой не разольешь, черти полосатые!»

Жизнь впереди представлялась ему теперь маняще загадочной. Хоть за четыре года военной карусели он и попривык к резким переменам судьбы, но это вот, почти внезапное перемещение из одной части света в другую вызывало в нем чувство полусна-полуяви, невсамделишности его сегодняшнего существования: «Надо же, елки-палки, занесло куда, к черту на кулички, хочешь — не хочешь, живи теперь!»

С океана тянуло легкой прелью и канатной смолой. Ровная, почти без морщинки вода распластывалась до горизонта, и блистающая ее поверхность беззвучно дышала, слегка испаряясь бледно-сиреневой дымкой. Видно, таким и увиделся этот простор тому, кто назвал его «тихим».

Поминать завернули в столовую. С трудом нашли свободное место, где мать выпростала из полотенца тарелку с приготовленной заранее кутьей:

— Помянем, Христа ради, рабу Божью Аграфену, — она мелко перекрестилась. — Буде земля ей пухом, Царствие ей Небесное.



— Готовил к новоселью, а пить за упокой приходится, — отец воровато извлек из-под телогрейки бутылку с самогоном, зубами выдернул обернутую тряпицей затычку. — Добро бы пригласить кого, не порядок это — без гостя поминать, мы все ж таки народ крещеный.

Федор машинально огляделся, неожиданно для себя встретившись глазами со своим собеседником с парохода: тот в одиночестве сидел за пустым столом, понятливо устремляясь в их сторону.

— Здоров, земляк, — кивнул ему Федор. — Подгребай, гостем будешь, бабка вот померла, поминаем.

Поминали сперва молча, но после третьей деревенский первач взял свое: языки развязались.

— Значит, Аграфеной звали? — гость завел издалека, как бы прилаживаясь, примеряясь. — Это надо же, всю жизнь в деревне прожила, на Курилы помирать приехала. Сдвинулась Расея-матушка, поехали за кудыкины горы, а где остановка будет, один Бог знает. На этих Курилах и земли-то, считай, нету, один камень, и тот на огне стоит, вот-вот провалится. Вон, чуετε? — Где-то вдали глухо и сдавленно погрохатывало, отчего утлая коробка столовой едва ощутимо сотрясалась. — То-то и оно. Говорят, из Москвы начальство грозитя быть — порядок наводить. Однако у небесной канцелярии свое начальство, ихних приказов не слушается. Сидеть бы нашему брату на месте, у печи, а не шляться туда-сюда по миру. — Он решительно поднялся. — Ладно, пора мне, спасибо на угощении, Христос с вами. Охота будет, заворачивайте, я тут внизу, аккурат под самыми японцами, в землянке расположился. Матвея Загладина спросите, укажут.

И двинулся к выходу: большой, степенный, уверенный.

— Корневой, видать, человек, — проследил за ним до выхода Тихон, — знает себе цену, такие рань-

ше архиереями служили али по торговой части, сразу видно, умеет разговоры разговаривать. Бывало...

Речь отца грозила затянуться надолго, и Федор, которому позарез необходимо было показаться кадровику, заспешил:

— Допивайте без меня. Мне еще оформиться надо, а потом к военкому на учет становиться. Бывайте...

#### 4

В отделе кадров оказалось не протолкаться: люди сидели, стояли, входили и выходили, до самого потолка густо пластался табачный дым, в котором бестелесыми рыбами тонули, плавали голоса, множество голосов.

Кто-то рядом с Федором, бровастое лицо под шапкой-ушанкой в дремучей щетине, монотонно жаловался без адреса:

— Пригнали, куда Макар телят не гонял, а порядка нету. Дали жилье на пятерых, вдвох не повернуться, не жилье, а сени, изо всех дырок текет. Опять же харчи. Мне ихней рыбы на дух не надоть, витамина, говорят, много, полезная, значит, а мне эта витамина безо всякой пользы, только на двор тянет. Мне без круп еда — не еда. В Москве кисельные берега сулили...

Из-за жиденькой перегородки, отделявшей кабинет начальника от его же приемной, доносился скрипучий, с надрывом фальцет:

— Какой ты к чёртовой матери сварщик, без году неделя к ведрам дужки приваривал, да и на кой чёрт мне сварщики, рабочие к сетям нужны! Да не суй ты мне свою красную книжечку, у меня их целый ящик, хоть на елку вешай, на ремзаводе вашего брата полный комплект. Вербовался разнорабочим, вот и давай к сетям. Всё... Следующий!

Промаявшись в этой колготне чуть не до вечера, Федор проник, наконец, в заветный кабинет, где очутился перед взъерошенным горбуном лет пятидесяти, в очках с проволочной оправой, из-под которых на него вопросительно уставились колючие от постоянной злости глаза:

— Договор при себе? — Он цепко выхватил у Федора протянутые им бумаги, едва взглянув, выдвинул волосатую руку к горке папок на полке сбоку от себя и, будто фокусник крапленую карту, ловко выдернул оттуда необходимый скоросшиватель. — Так. Посмотрим, — быстренько перелистал и сразу же обмяк, подобрел. — Прямо скажем, Самохин Федор Тихонович, личное дело у тебя красивое. — Он откровенно любовался посетителем. — С такой анкетой хоть сейчас в партию, сам рекомендацию дам. Нам такие люди нужны, Самохин, такие орлы нынче на дороге не валяются, сюда всё больше шпана, рвачи, золотая рота за длинным рублем налетела: дерьма без присмотра не оставь, разворуют и пропьют. И к тому же, граница близко, глаз да глаз нужен, спьянуто чего в голову не взбредет. Нам на почтовый катер человек требуется, пост ответственный, японские воды — рукой подать, глядеть нужно в оба, тут необходим проверенный кадр. Я вот смотрю, ты в войсковой охране служил, шоферское дело тоже знаешь, тебе и карты в руки. Механика нехитрая, на ремзаводе ребята натаскают. Лады? — И, заметив, видно, что Федор еще колеблется, заспешил, заторопился: — Давай, дуй в медпункт, здесь же в бараке, с другого бока, бери справку о здоровье и оформляйся. Всё. Следующий!..

Около медпункта стоять не пришлось. Дверь, ведущая туда прямо с улицы, была открыта настежь. Федор, постучавшись для порядка о косяк, вошел и, едва открыв рот, захлебнулся начатым словом: у открытого шкафчика с медикаментами стояла женщина

в белом халате и смотрела на него так, будто давно и уверенно ждала его прихода.

— Полина Васильевна... Полина... Поля...

И на него пахнуло той гулкой, сырой осенью срок первого года, когда он после контузии, полученной при отступлении от Брянска, отлеживался в одном из московских госпиталей в ожидании выписки и отправки на фронт. Дни за окном стояли тусклые, похожие один на другой, с порывистой изморосью и мокрыми туманами по вечерам. Сквозь ржавую хвою госпитального парка хмуρο просвечивало разбухшее небо, распатланные облака вяло волочили вихрастые космы по верхушкам деревьев, и приплюснутый сыростью окрест мутно растекался к окраинным горизонтам.

С утра до отбоя, изнывая от безделья, Федор резался в шашки со своим соседом по палате Яшей Куперником — стрелком-радистом, в бинтах, как в коконе, с прорезями глаз и рта на безликой марле, дни текли под стать погоде, грузно, серо, и госпитальной тягомотине этой, казалось, теперь не будет конца.

На Яшу это спертое однообразие никак не действовало, скорее наоборот: день ото дня тот становился всё оживленнее и напористей. Федора располагала в нем неиссякаемая дурашливость, сквозь которую временами, словно ржа на зеркальной жести, проступала, прорезалась потаенная горечь. Казалось, Яша с яростной одержимостью укачивал в себе словами, потоком, лавиной слов долгую и уже неутолимую боль.

— Родители считали меня вундеркиндом, — он влажно поблескивал глазами из-под бинтов, завораживая напарника вязью нервной скороговорки, — только потому, что я в пять лет умел одним пальцем отбарабанить на пианино «чижик-пыжик, где ты был». И можешь себе представить, они потащили меня в сто-

лицу нашей родины, к самому Ойстраху. Что там было, вспомнить страшно: папа кричит, мама плачет, Ойстрах последние волосы на себе рвет: еще один вундеркинд на его голову! И на мое еврейское счастье я-таки в конце концов попал в эту самую консерваторию, чтоб ей было пусто, и даже почти кончил ее, спасибо, война помешала. Теперь вот, — легонько постучал друг о друга загипсованными культиями, и сквозь марлевые прорези на Федора излилось короткое отчаянье, — слава Богу, отмучился, разве что на барабане без палочек приспособят...

Это почти иступленное отчаянье с каждым днем всё более отягощало Федора сознанием какой-то смутной вины. Федор постепенно начинал стыдиться своей легкой контузии, своего аппетита, даже своих не поврежденных войной рук. Ему казалось, что, уцелев такой недорогой ценой, он как бы обокрал Яшу и вообще ребят вроде этого Яши, а теперь живет за их счет, на их хлебах и здоровье. И, хотя в голове по утрам еще тошнотно позванивало, острой болью отдаваясь в затылке, Федор томился ожиданием вырваться отсюда в любое пекло, лишь бы поскорее. Он уже потерял было надежду, когда однажды под вечер его вызвали в кабинет дежурного врача, где навстречу ему поднялся высокий, с ранними залысинами майор:

— Самохин? Федор Тихонович? Девятнадцатого года рождения? — Майор, не глядя на него, резко перелистывал папку, то и дело слюнявя прокуренные пальцы. — Комсомолец? Из крестьян? Деревня Сычевка Тульской области? Не женат? Прошел боевое крещение? Так. — Здесь он в первый раз вскинулся на Федора, взгляд был долгий, неподвижный и скорее в себя, чем вовне. — Что ж, Самохин, анкета у вас подходящая, пролетарская кость застрянет в горле у любого врага. Берем вас на объект особой важности, проявляем к вам доверие, понимать должны, строжайшая

секретность, как говорится, ешь суп с грибами...  
Понятно?

— Понятно, — Федор не знал, горевать или радоваться: возможность наконец-то вырваться из госпитальных стен празднично облегчала его, но в то же время служба в ведомстве, о котором вокруг говорилось с опасливой оглядкой, ему никак не светила. — Наше дело солдатское.

Майор одобрительно крякнул, захлопнул папку, воззрился в его сторону, заученно определил:

— Завтра в восемь ноль-ноль, в приемном покое. Документы получите у меня. Ясно? Выполняйте.

Наутро обшарпанная полуторка, переваливаясь с колеса на колесо, тащила его подмосковными перелесками к новому месту назначения. Поздняя осень окисала сыростью и распутицей. Голые чащи с пронзительно яркими вкраплениями рябиновых гроздьев источались липкой, словно плесень, изморосью. Редкие прогалины стекали под колеса сплошной хлябью, и временами казалось, что машина вовсе не катится, а плывет сквозь рухнувшее на землю небо.

Федор маялся в кузове, среди мешков и ящиков, покуривал, поругивался тихонько на ухабах, чутко подремывал: приходилось часто вставать, спускаться в придорожную топь, подсовывать под колеса заготовленные на этот случай горбыли, а затем в паре с майором упираться плечом в задний борт, помогая колымаге выскрестись из очередной ловушки.

Шофер — долговязый старшина, ушанка сдвинута почти на ухо, новенький бушлат нараспашку — мрачно матерился с подножки, посверкивая в их сторону металлическими зубами:

— Техника, твою мать! Утильсырье на колесах, туды твою растуды, на ней не ездить, а только орехи колоть, и то не годится, мать твою перемать! Резина совсем лысая, сколько прошу, едреный стос, никакого внимания, одно название, что органы, мать их так!

— Прекратите, Губин, за такие разговорчики и под трибунал недолго попасть. — Стоя по щиколотку в грязи, майор было попытался для пущего убеждения даже притопнуть ногой, но в голосе его при этом не чувствовалось ни воли, ни настойчивости, одна только усталость: сплошная, долгая, глубокая. — Вы чекист, Губин, стыдитесь!

С наступлением сумерек на пути стали возникать дозоры боевого охранения. По мере следования они учащались, выявляясь из полутьмы в самых неожиданных местах: сказывалась близость прифронтовой полосы. Майор обменивался с часовыми шепотной скороговоркой, и полуторка следовала дальше: в лес, в ненастье, в наступающую ночь.

Когда, наконец, фары выхватили из чернильной теми бревенчатый дом с наглухо задвинутыми ставнями, Федору уже не хотелось ни вставать, ни двигаться: ночь навалилась на него всей своей сонной мощью. Всё последующее звучало, мельтешило, двигалось где-то извне, вокруг, поверх осевшей в нем дремотной тяжести. С этой тяжестью его и несло затем через слякоть и темь в тускло освещенную семилинейкой комнату, где перед ним обозначилось крепкое, в мелких рябинах лицо широкоплечего парня в расхристанной гимнастерке:

— Сморило, служивый! — Парень суетился вокруг стола, расставляя на нем нехитрую снедь: спирт, хлеб, консервы. — Опрокинь с дороги и — на боковую. Я тут пожух, один сидючи, душу отвести не с кем. Хотя место тут, — он многозначительно подмигнул гостю, — скучать не приходится...

Под его ласковый говорок Федор и заснул, окончательно сморенный хмельной истомой. И снилось ему жаркое лето в деревне, с голубыми бубенцами васильков в почти коричневой ржи, через которую причудливо вилась пыльная колея. По ней, по этой колее, навстречу ему, как бы не касаясь земли, двигалась его

мать, и дорожная пыль из-под ее босых ног плыла наподобие легкого облачка: «Испей, Феденька, водички, а то кваску холодного! Феденька!..» И голос ее обволакивал Федора безмятежностью и синевой.

И сон в руку: Федор пробудился, осиянный такой слепящей благодатью, что хотелось зажмуриться и долго лежать так, неподвижно, освобождаясь от вчерашней тяжести и пасмурных воспоминаний. За окном щедро царствовало солнце. Полая еще накануне даль ожила, раздвинулась и принарядилась. Празднично умытое небо туго вытянулось к самому зениту. Сквозь остов ближнего леса белесой паутиной тянулся туман, в котором, словно цветные рыбы в аквариуме, трепетала полуистлевшая листва: черное с золотом, подсвеченное дымчатой капелью.

— Считай, что погоду привез, солдат, — вчерашний парень стоял на пороге с охапкой дров на руках, сияя своим крепким, в мелких рябинах обликом, застегнутый на все пуговицы и молодецкато подтянутый, — закисли, в самом деле, от этой мокроты, думали, так до снега и доморосит. — Он ловко орудовал растопкой, огонь занимался у него под рукой споро и весело. — Разом чайком опохмелимся и — на доклад к начальству. Майор наш только с виду строг, а в деле мужик уважительный.

Так же ловко и аккуратно он собрал на стол, заварил чай, разлил кипяток в кружки, а затем по-хозяйски уселся напротив. Было видно, что он искренне рад новому сослуживцу, что роль хлебосольного хозяина ему нравится и что вообще для него собеседник или слушатель — долгожданный подарок. «Да, видно, насиделся ты здесь бирюком, брат, — присматривался, прислушивался, мотал на ус Федор, — дорвался теперь до разговору».

— Меня, для ясности, Николаем зовут, Носов фамилия. — Он явно блаженствовал, прихлебывая из кружки. — Тоже после госпиталя сюда попал, возле



Киева под бомбежку угораздило, осколок чуть повыше поясницы застрял, к погоде ноет, а так — ничего. У нас тут все чем-нито поврежденные, кто — телюю, кто — кумполом. Одно слово, полтора инвалида да баба впридачу. Только баба, я тебе скажу, жох, одной титькой двух прибьет, с характером женщина, ничего не скажешь, врачиха, сам увидишь. Механик при самолете опять же фрукт, тронутый, правда, но безвредный. Майор этот, вот и вся команда. Летунов, когда надо, из поселка привозят, верст пять будет, там у их полк стоит.

— А когда это самое «надо»-то? — попробовал осторожно пощупать Федор. — Что за объект тут такой?

Тот словно только и ждал этого его любопытства: радужно просиял, заспешил, заторопился, отставив кружку в сторону и доверительно к нему подавшись:

— Оно, конечно, наше дело телячье, солдатское, винт в руки и — топай себе в боевое охранение, однако, верно я скажу тебе, братишка, объект этот самой что ни на есть секретной важности. Разведку в тыл врага забрасываем, понимать надо! Всё больше молодняк, вроде нас с тобой, зато по-немецкому, как по-нашему, чешут. Майор их здесь натаскивает напоследок, а Полина Васильевна, врачиха, значит, насчет здоровья проверяет, больного на такое дело не пошлешь. Плохо только, — он сожалительно вздохнул, поднялся, — промеж себя, как молчуны, живем, всяк в своей щели прячется, одно — по службе и говорим, если что. С механиком другой раз можно перекинуться, когда он трезвый, только ить не просыхает совсем. Мы с тобой в этой халупе вдвох обитаем, белая кость там, — он кивнул в окно, — в особняке живет. — Парень, с ног до головы — по уставу, уже нетерпеливо топтался у порога. — Пора по начальству, солдат. — И уже выходя: — Как зовут-то тебя?

За редкими деревьями перед крыльцом проглядывалась большая, тщательно выкошенная поляна в окружении густого подлеска, за которым возвышалось темное полотнище бора. Тропа вывела их сначала на поляну, а потом через нее и через подлесок в самый бор, к дачного вида строению, облепленному со всех сторон целым набором пристроек и пристроечек.

— Заходи, не укусит, — Носов легонько подтолкнул его к дому. — Как войдешь, дверь по левую руку, а я покурю куда. Главное — молчи, пускай позудит, он это любит, позудит, позудит и отпустит. С Богом!

После слепящего света поляны в прихожей было, как в погребке. Федор почти на ощупь отыскивал нужную дверь, постучал. За дверью некоторое время стояла тишина, затем глухо отозвалось:

— Войдите. — Майор сидел, шинель на плечах, глядя куда-то сквозь Федора, вялым жестом пресек попытку гостя доложить по форме. — Отставить. Садитесь. — И сразу, без всякого выражения на лице, сухо, затверженно, с каждым словом всё уходя и уходя долгим взглядом в самого себя: — Органы, Самохин, — карающий меч революции, глаза и уши нашей партии. Внутренний враг сегодня действует у нас в тылу заодно с врагом внешним, под угрозой завоевания великого Октября. Международная гидра задумала вновь навязать нашему рабочему классу и трудовому крестьянству царя, помещиков и капиталистов. Одним словом, — закончил он буднично и почему-то мотнул затылком на портрет Дзержинского, одиноко висевший у него над головой, — смотри в оба. Всё, что делается на объекте, — военная тайна. Что видишь, что слышишь, тут же забудь, выброси из головы. Любое разглашение — трибунал, вплоть до высшей меры. Ясно? Насчет обязанностей Носов просветит. Зайдите сейчас к врачу, дверь напротив, покажитесь для порядка. Идите.

Еще до того, как Федор ее увидел, вернее с того момента, когда Носов упомянул о ней, его не оставляло смешанное чувство смутной тревоги и преддверия какой-то вещи для него неожиданности. И стоило Федору увидеть ее, чтобы предчувствие лишь укрепилось и обрело явь: перед ним оказалась рослая и ровно в меру этого роста полная женщина лет тридцати с насмешливо властным выражением на крупно и ладно вылепленном лице. Темные волосы, уложенные в высокий пучок, венчали ее упрямой посадки голову, словно корона.

— Здоров, как бык, — отводя от его груди стетоскоп, добродушно хмыкнула она, — можешь облачаться. Жить тебе и жить, солдат, до ста лет, если раньше не умрешь. Из деревни, видно? — Ее насмешливость не обижала, скорее подзадоривала, вызывала на разговор. — Откуда, из какой области?

— Тульский. — Федор невольно заражался ее тоном. — Нас еще самоварниками зовут.

Она коротко колыхнула всем телом, просияла уверенным обликом, младенчески обнажая две ямочки на щеках, одну — на подбородке:

— Ладно, топай, самоварник, служи Советскому Союзу, тебе к докторам рано ходить, а так, на огонек, заглядывай, тоска здесь, не приведи Господи, зеленая.

Она снисходительно, как маленького, погладила его по стриженной голове. И это ее бездумное движение вызвало в нем такую жаркую волну ребячьей благодарности, что он, боясь расплакаться, опрометью бросился прочь.

Носов подался Федору навстречу, нетерпеливо приплясывая: парня заметно распирало тряское любопытство:

— Ну как? — Он кивнул в сторону дома. — Хороша парочка: баран да ярочка? Друг дружки стоят! Живут, как кошка с собакой, только виду не показывают. Чегой-то у них промеж себя давно тянется,

думаю так, с довойны еще, катавасия какая-то. — Прищурил белесые ресницы, вопросительно воззрился. — Зазывала, небось? Не связывайся ты с этим делом, погоришь, как швед. Тут до тебя много перебывало, все на фронт загремели, у этого майора не забалуешься, мягко стелет да жестко просыпаться. Пойдем-ка лучше к механику, с им веселее будет, хотя тоже пыльным мешком из-за угла трахнутый...

Они обогнули дом и задним ходом, через террасу, поднялись по шаткой лестнице в мезонин, сплошь заваленный горами летней рухляди. На всем здесь лежал налет тлена и запустения: беспорядочная мешанина мебельного лома, пыльного тряпья и паутины.

— Леонид Петрович, — опасливо позвал Носов, заговорщицки подмигнув спутнику, — спите?

В дальнем углу, справа от единственного окна, натужно заскрипели пружины, потом на фоне оконного света проявилась взлохмаченная голова без лица. Постепенно привыкая к полумраку, Федор разглядел на слитном пятне этой головы пухлые или распухшие губы в обрамлении недельной щетины, над ними — нос картофелиной и глубоко запавшие светлячки глаз. Прежде чем он услышал голос, на него потянуло запахом устойчивого перегара.

— А-а, это ты, Никола, подгребай давай. — Голова исчезла, откачнувшись в темь, снова тяжело скрипнули пружины. — Здесь вроде еще осталось малость, добьем.

Когда глаза Федора окончательно освоились с пыльным сумраком, он разглядел в углу под окном старый диван без спинки, кое-как застеленный армейским одеялом, а на нем сильно помятую похмельем фигуру с полупочатой бутылкой в руках.

— Следующий прибыл? — Губы среди щетины раздвинулись в хмурой ухмылке. — Так сказать, еще один эксперимент. Посмотрим, посмотрим, хватит ли вас, дорогой товарищ. — Он извлек откуда-то из-под

себя погнутую вкривь и вкось кружку. — А пока садитесь, дорогой товарищ, обмоем, так сказать, ваше прибытие. Приборов больше нет, привыкайте, дорогой, по очереди.

Куцая выпивка слегка ударила в голову, но к разговору не расположила. Только механик, замыкаясь в хмельном кругу, отрешенно светился дальними видениями:

— Вот помню, в Гори ребята с моста прыгали... — Но, видно, живо представив себе, как они — эти ребята — прыгали с моста в Гори, он счел тему исчерпанной и умолк до следующего воспоминания. — Когда я увидел ее в первый раз там, в Краснодаре...

Кого и как он увидел в Краснодаре, слушателям оставалось догадываться. В конце концов механик сомлел, откинулся на спину, и по шетинистому его лицу разлилась блаженная дремота: наверное, в эту минуту ему мерещилась еще одна радужная картина прошлого, которая уже не нуждалась в свидетелях со стороны.

На обратном пути Носов беззлобно жаловался Федору:

— Видал компанию? Считаю, четвертый месяц с ими валандаюсь, и конца краю этому не видно. Правду сказать, служба тут — не бей лежачего: три печи вытопить да за мотором присматривать, вон возле стожка под маскировкой прячется. — Федор проследил его взгляд: в противоположной части поляны, впритык к лесу, стоял затянутый маскировочной сеткой одинокий «кукурузник». — Харчи из поселка возят, стирка тоже там; одно слово — солдат спит, служба идет, жить можно. Чего я на фронте том не видал, нынче дураков нету. Обойдешь сегодня в ночь это хозяйство разок-другой и спи себе до третьих петухов, а завтрава мой черед... Только от кого тут караулить, кругом оцепление на оцеплении, оцеплением погоняет.

Поздним вечером Федор вышел в свой первый обход. Осенняя темь матерела, набирала силу, круто сгущая холодеющий воздух. Время от времени то тут, то там от стылой бездны отрывалась звезда и, пересекая небо наискосок, осыпалась, исчезала в ночной черноте. Всё кругом дышало ровным покоем, жилой глубиной и мирной безмятежностью. Даже не верилось, что где-то совсем рядом вытягивался фронт, может быть, самой большой на этом веку войны.

«И сподобило же тебя попасть сюда, Федя, — подвел он черту минувшему дню, — не сносить тебе тут головы!»

## 5

Погода установилась ясная, с ранними заморозками, с солнечной капелью в полдень, с зябкими туманами по вечерам. Обязательства у Федора оказались и впрямь несложными. На рассвете он, наскоро перекусив, отправлялся в лес, рубил сухостой на дрова, загружал и растапливал две печи — у майора и врачихи — в большом доме и шел отсыпаться до самого обеда к себе в караулку. В те часы, когда Федор управлялся, оба еще спали, а потом спал он, после чего каждый из них закрывался на своей половине, и поэтому за два дня жизни на объекте ему так и не удалось толком увидеть их, не то что перекинуться словом. Вечерами, обходя хозяйство, Федор подолгу вглядывался в светящийся проем ее окна, но зайти, сколько себя ни уговаривал, все-таки не решился.

«Не по тебе дерево, Федя, — отмахивался он от соблазна заглянуть в манящую пропасть, — только на смех подымет».

На третий день утром, возвращаясь из леса, он на крыльце большого дома нос к носу столкнулся с черно-волосым парнишкой, почти мальчиком, в спортивной

паре и парусиновых тапочках на босу ногу. Тот, деловито поздоровавшись, сбежал по ступенькам, сосредоточенно занятый на ходу гимнастикой. «Не поможет тебе, друг, твоя физкультура, — усмехнулся про себя Федор, глядя на его щуплую, даже тщедушную плоть, — попроси лучше маму родить тебя сызнова».

Майор, против обыкновения, оказался на месте. Тут же находился и механик, на этот раз выбритый до синевы, в заношенной, но щегольской кожаной куртке, из-под которой виднелась новенькая гимнастерка с сержантскими треугольниками в голубых петлицах.

— Вот что, Самохин, — майор впервые окинул Федора оценивающе осмысленным взглядом, — поступаешь в распоряжение Лялина. С сегодняшнего дня каждое его слово для тебя — приказ. На объекте состояние боевой тревоги номер один. Ясно? Выполняйте.

По дороге механик морщился похмельно тяжелым лицом, говорил отрывисто, в сердцах:

— Чудит на радость маме, чмур недоделанный... Поможешь заправить, — он боднул воздух впереди себя, — эту керосинку, вот и вся твоя, дорогой товарищ, тревога номер один. Остальное — моя забота. — Вяло копошась вокруг самолета, он продолжал тихонько поругиваться и ворчать. — На нем не только в тыл врага, на нем дышать страшно, вот-вот развалится... Конашевич — сумасшедший, вот и взлетает... Этот Конашевич и на швейной машине взлетит... Нашли дурака, вот и пользуются... Иди себе, солдат, не путайся под ногами, лучше выпей с Николой, больше пользы будет.

— Мне приказано, я и путаюсь, — обиделся Федор. — Начальников много, а я один.

Механик повернулся к нему всем корпусом, виновато поморщился, сказал тихо, печально, назидательно:

— Человека с похмелья понимать надо, солдат, человек в это время не в себе находится, человек в это время в мятежных сферах витает, его дух разрушения жаждет... Чу! — внезапно встрепенулся он: неподалеку, среди леса, возникло сбивчивое тарахтение мотора. — Еще один гроб на колесах грядет, Конашевича на закланье тащат.

По дороге, ведущей из леса, вперевалку выкатилась знакомая Федору полуторка и вскоре заглохла перед крыльцом караулки. Тут же от машины отделился человек в коже с головы до ног и почти бегом направился к ним через поле.

— Леха! — он еще издали принялсЯ размахивать летным шлемом над собой. — Не дрейфь, за счет фанеры взлетит, она легкая! Здорово, Леха!

Появление гостя преобразило механика: глаза его ожили, приобрели блеск, плечи выпрямились, на опавших щеках проступило нечто вроде румянца:

— У тебя, Вовчик, и без фанеры взлетит, здорово! — Лялин бросился к нему навстречу, они обнялись и так, обнявшись, принялись неуклюже тискать друг друга. — Прогреем разок-другой, захлопочет, как миленькая, не таких в чувство приводили.

— Давно мы с тобой не пили, Леха, — удовлетворенно похохатывал гость, — вернусь, напьемся — нальемся в драбадан!

— В доску!

— В лоск!

— В дымину!

— В стельку!

— В дрезину!

Они, видно, повторяли эту игру не в первый раз, в чем угадывался какой-то особый, понятный только им двоим смысл, отчего их разбирало еще большее веселье.

— В зеленого змия!

— В него, ползучего!



Потом они втроем сидели в караулке, коротая время за чайком, под который Конашевич щедро ода- ривал их своей смешливой говорливостью:

— В полку ребята писают под себя кипятком: но- вые машины пришли. Старье на турецкую границу отправляют. Может, наконец, воевать начнем, а то не война, а сплошные поддавки, только людей гробим. И каких людей! Кадровых ассов на удобрение перево- дим, сердце кровью обливается! — Он вдруг погас и ожесточился. — Ваши тоже чудят. Куда их там, этих сосунков, забрасывать? Им еще в «казаки-разбойники» играть. С первого курса берут: айн, цвай, драй да хенде-хох, вот и весь ихний ин-яз. Бросают, как горох на камень: глядишь, прорастет. Да не прорастет ведь! — Его даже перекосило. — Перестреляют, как куро- паток!

Носов с шумом объявился на пороге, всей своей выправкой выказывая услужливую исполнительность:

— Товарищ старший лейтенант, к майору!

— Начинается волынка, — нехотя поднимаясь, ухмыльнулся тот, — поговорить не даст, чёрт поло- сатый! — И уже за дверью: — Ждите, мужики, ско- ро вернусь...

— Человек! — глядя ему вслед, механик торже- ственно поднял палец вверх. — Мы с ним вместе взле- тали, вместе падали, вместе из окружения выходили. Да где там выходили, он меня на себе выволок. Я за ним с закрытыми глазами куда угодно, в огонь и в воду. Теперь таких раз-два и обчелся, теперь такие, как мамонты, вымирают, скоро совсем не останется, ценить надо, дорогие товарищи.

— Чего говорить, — поспешно согласился с ним Носов: он, по всему судя, готов был соглашаться со всем и с каждым, если это не требовало от него обяза- тельств или усилий, — старшему лейтенанту палец в рот не клади, с головой мужик.

Механик брезгливо скривился, сузил глаза и посмотрел на солдата так, как смотрят на что-то крохотное, почти неразличимое:

— Топчешь планету, Носов, а зачем? Какой палец, какой мужик, какая еще голова? Я тебе про высокие материи толкую, про жизнь и смерть, про родство душ, а ты ко мне со своими прибавками лезешь. Эх, колхоз! — но тут же смягчился: — Ладно, садись, слушай, хоть ты этого и не заслуживаешь... Сбили нас под самым Львовом...

Это была история, точь-в-точь похожая и непохожая на десятки других, подобных же, из тех сотен, что довелось выслушать Федору горьким летом войны. В ней тесно переплетались правда и вымысел с терпким привкусом пережитого страха, скрытого стыда и восхищения собою. В ней два человека, прячась, плутая, путаясь в трех соснах, словно зачумленные, чураясь жилья и дорог, пробирались в ту сторону, откуда поднималось солнце, а оно светило им навстречу — долгое, палящее, безжалостное. Скорбное солнце начала войны...

Конашевич вернулся, когда поле и лес за окном медленно растворялись в густеющих сумерках, тепло земли отлетало к студеным высям, где уже изрядно и резко высыпало: две временные поры пересекались друг с другом на стыке дня и ночи, и зима заметно одолевала.

— Замучил, лягавый, — он остервенело сплюнул, — делать ему нечего, мильтону. Подъем, братва, труба зовет, через час-полтора можно взлетать, начальство уже на месте...

К самолету двигались молча: атмосфера сугубой важности происходящего настраивала их на несколько торжественный лад. У них на глазах и с их участием совершалось некое таинство, секретное действие, запретный обряд. И обряд этот обязывал каждого из участников к известному самоограничению или жерт-

ве, что сообщало им чувство сослужения с чем-то куда более значительным, чем каждый из них сам по себе.

На месте их уже ждали. Майор выступил из темноты, забубнил вполголоса:

— Пора, время не терпит. Товарищ старший лейтенант авиационной службы, вы готовы к выполнению боевого задания? Рядовые Носов, Самохин, собирайте костры для посадки: ровно через два часа пятнадцать минут машина будет обратно. Ясно?

— Ясно, — буркнул Конашевич и нырнул в темь, к самолету. — Не маленькие, а насчет «обратно» расписание у Всевышнего. — И затем к механику: — Гляди в оба, Леня, взлетаю вслепую.

И слился с крылатым силуэтом.

— Копни сенца посуше, — шепнул Носов Федору. — Я хворосту подтащу, разложим в разных концах, зальем бензинчиком, полыхнет за милую душу. Иди, иди, — тихо и, как показалось Федору, с особым значением гоготнул он, — не бойсь.

Но едва расплывчатое пятно копны выделилось перед ним из лесного сумрака, как навстречу ему оттуда же выпростались и поплыли, переплетаясь, два голоса:

— У меня это в первый раз было, честное слово, Поля...

— Я знаю.

— Разве это можно знать?

— Можно. Я старая, я все знаю.

— Какая же ты старая, десять лет — не разница.

— Еще какая! Это тебе сейчас кажется, что немного, пока молодой, а повзрослеешь, сразу заметишь.

— Я тебя всё равно не забуду, Поля.

— Спасибо, милый.

— Я к тебе вернусь.

— Возвращайся, я ждать буду, обязательно возвращайся, кого же мне ждать еще...

— Правда, Поля?

— Правда, правда, Миша, чистая правда...

Ночь отозвалась голосом майора:

— лейтенант Гуревич, вы готовы? Пора.

В темноте зашуршали сеном:

— Есть, товарищ майор!.. До свиданья, Поля, теперь надолго, пока война не кончится.

— До свиданья, Миша, береги себя, смертей много, жизнь — одна.

— Только для тебя, Поля, только для тебя. Жди...

Сначала в Федоре все замерло, затем оборвалось, перехватив горло обжигающе удушливым колотьем. Еще вчера, смутно прозревая только что случившееся, он всё же не ожидал, что это произойдет так внезапно, так близко, так до унительности обыденно. «Так вот оно, однако, как бывает, — Федору казалось, что он задыхается, — будто и вправду птичий грех!»

Остальное доносилось до него уже сквозь яростный шум в ушах и легкое головокружение:

— От винта!

— Мотор!

— Поехали!..

Под свист рассекаемого воздуха и стрекот пропеллера крылатая тень выскользнула на освещенную молодой луной поляну, стремительно уменьшаясь, пронеслась по ней и в следующее мгновение трепетно взмыла над зубчатой кромкой леса, а вскоре безраздельная тишина снова заполнила собою ночь.

И лишь после этого в глуховатом голосе майора прорезалась снисходительная нота:

— Ладно, хлопцы, примете машину и можете быть свободны, отсыпайтесь, хоть до обеда. — И вдруг тоненько, почти жалобно: — Товарищ Демидова, куда вы, подождите!.. Полина Васильевна!.. По-

лина Васильевна! — Голос его звучал всё дальше и глуше. — Полина!..

Устраиваясь около Федора, Носов долго шуршал сеном, сопел, сплевывал, хмыкал и, наконец, прорвался:

— С Лялиным пошла, да от него какой толк, ему бы только выпить. Вот эдак кажинный раз, майор за ей, она — от него, не баба, а стервь, веревки из нашего брата вьет, а посмотреть — не лучше других, одна статья — тела много, а вот ведь присушивает. Путається с кем ни попадая, а с майором чистый зверь. Думаю, на-зло ему и путается-то. С чего это у них пошло, не знаю, только волынка ихняя давно тянется, это точно.

Он помолчал коротко, вздохнул. — Говорю тебе, Самохин, не встревай ты в этот омут, костей не соберешь. — И заторопился: — Давай-ка теперь загодя поставим метки, запалить потом — плевое дело.

Но и работа не отвлекла Федора от его навязчивого наваждения: он по-прежнему не мог думать ни о чем другом. В его жизни, и он был уверен в этом, такого еще не встречалось. Правда, жизни позади набралось — воробью по колено, оттого, кроме школьных писуль да случайных обнимок на посиделках, ему и вспоминать нечего было по этой части, а сейчас он чувствовал себя так, будто его долго и остервенело били: в нем болело, ныло, саднило всё сплошь, с корешков волос до ног. Федора трясло от одной лишь мысли, что с нею мог быть кто-то другой, до него...

Звук возник сразу, из ничего, и повис, разрастаясь над лесом.

— Пали! — не то крикнул, не то выдохнул Носов. — Я с того конца, ты — с этого.

И кинулся прочь. Через минуту поляна озарилась пляшущим пламенем нескольких костров. В их неверном свете наискосок через поле бежал механик, приплясывая на ходу:

— Труби сбор, братва, пить будем! За Конашевичем не останется, гульнем по буфету!

Звук всё нарастал, приближался, стекал книзу, пока, наконец, подсвеченная спереди и с нижних боков птица не появилась над лесом.

Весело урча, она устремилась к ним, перед самой поляной резко осела, качнулась, колеса ее, легонько подпрыгивая, заскользили по траве. С чихом и тараканьем машина подрулила к стоянке и умиротворенно заглохла.

— Задраивай, братва, эту керосинку и айда пить!  
— В два прыжка Конашевич оказался на земле, извиваясь в объятиях механика. — Замерзли, надо думать, в ожидании выпивки?

Возня с маскировкой заняла у них не более получаса, после чего они гурьбой подались в караулку, где старший лейтенант достал из привезенного еще утром рюкзака обещанное угощение: три бутылки спирту и увесистую банку тушенки.

— Займись, Носов, это по твоей части, — Конашевич устало увядал. — Обмоем еще одного моего крестника, чтоб ему повезло.

Начинали молча, без тостов, будто отбывая обязательную повинность. После третьей душа переполнила грудь, сердце оттаяло, слова попросились наружу. Первым не выдержал тот же Конашевич.

— Вроде я здесь ни при чем, — понесло его, — приказано, выполняю, а вот тут, — он ткнул себя кулаком под сердце, — болит, будто я этого птенца сам в расход послал. Не могу больше, не полечу! Пусть судят: больше вышки не дадут, дальше фронта не пошлют. Я не лягавый, я — летчик-истребитель! Хватит!..

Но речь его теперь была — не в коня корм: каждого уже одолевала своя собственная болячка. Механик, настигнутый окружившими его видениями, принялся гнуть свое:

— Помню, мать моя покойная, она в горочистке секретаршей работала, сказала мне...

Что именно сказала ему мать, никого не интересовало, но покладистый Носов на всякий случай сочувственно кивал:

— Оно конечно... Это само собой... Какой может быть разговор!.. Бывает же!..

Окружающее как бы не касалось Федора. Он пил, не отставая от других, но хмель не действовал, а лишь распял воображение. Какая-то гибельная сила тянула его туда, к светящемуся в холодной ночи окну. И, не в состоянии более противостоять этой силе, он под общий говор встал и двинулся через караулку, через лес, через поле навстречу плывущему из черной пропасти свету. И, преодолевая удушье, постучал. И она открыла. И, впуская, погладила его, как маленького, по голове.

И дальше не было ни яви, ни памяти.

## 6

Это затянулось у них до белых мух, до твердых заморозков, до тех пор, пока тяжесть зимы не обложила всё вокруг долгими холодами. По утрам, когда после бессонной ночи Федор отсыпался в караулке, Носов, занятый хозяйством, беззлобно гудел у него над ухом:

— Говорил я тебе, чудак, не связывайся, не твоего огорода такой овощ. Вон в поселке девок навалом, сами просятся, хоть кажинный день новую, а эдакие-то не для нашего брата, мы им вроде баловства, с жиру бесится стерва, тела девать некуда. А майор узнает, на фронт пойдешь, а чего ты там не видел на фронте-то, или не навоевался? Брось, парень, верно тебе говорю, брось!..

Федор и сам сознавал, что тот прав, что ношу он примеряет для себя непосильную и что груз этот в конце концов придавит его. Но едва на дворе высыпало и там, в доме на той стороне взлетной площадки, вспыхивал свет, его, словно лунатика, поднимало с места, и он опять украдкой пробирался туда, чтобы начать всё сначала.

Это прервалось лишь с появлением очередного «мальчика», жизнь которого на объекте против обыкновения затянулась: что-то застопорилось в отлаженном механизме переброски. Федор потерянно кружился, тыкаясь из угла в угол, с замирающим сердцем следил, как зажигается, а затем гаснет свет в ее окне, клял себя, свою блажь, свою слабость и мучился ревностью: «Сука, сука, — размывало его ревнивое иступление, — змея подколотная!»

Вялый после запоя механик при встречах выговаривал ему лениво и скорбно:

— Не жилец ты, Самохин. Смертник, можно сказать. Это для тебя, как мина замедленного действия: рано или поздно взлетишь на воздух. Она не таких в распыл пускала. Залей лучше этот пожар ратификатом, похмельись с перепою и забудь, завяжи морским узлом на веки вечные. Я тоже чуть не попал, еле выбрался. Послушай дяденьку, дорогой товарищ, дяденька битый. Упрешься, не сносить тебе головы...

И надо же было тому случиться, что однажды утром он встретил их — ее и его, этого нового мальчика, — по дороге из лесу. Огибая поле, они шли мимо него вдоль опушки, локти их касались друг друга, и по той снисходительной доверительности, с какой Полина в разговоре наклонялась к спутнику, Федор обморочно догадался, что все слова, которые он слышал от нее в самые сокровенные между ними минуты, она уже слово в слово повторила и этому парню. И томительное отчаяние последних дней вдруг сменилось холодной яростью: он убьет ее, пристрелит, как собаку,



и будь, что будет, ему теперь все равно! «Больше вышки не дадут, — почему-то вспомнил он летчика, — дальше фронта не пошлют!»

После обеда наконец-то объявился Конашевич, и события потекли своим чередом: встреча, разговор за чаем в караулке, подготовка к вылету. Федор куда-то ходил, с кем-то переговаривался, на кого-то смотрел, но явь вокруг существовала как бы помимо него и того, что в нем. Решимость, двигавшая им теперь, не нуждалась в поддержке или подтверждении со стороны, жила сама по себе, цельной, отдельной от всего жизнью.

Это его состояние не укрылось от одного лишь Конашевича. Выходя поздно вечером следом за ним из караулки, старший лейтенант вполголоса заговорил:

— У тебя белые глаза, солдат, белые, как перегорелый антрацит. Не сходи с ума, солдат, зачем тебе этот затяжной прыжок без парашюта? У тебя вся жизнь впереди, не считая войны, конечно. Посмотри на себя в зеркало, у тебя лица совсем нет, сплошной сланец...

Но Федор уже не слышал ничего и никого вокруг. Ему было не до размышлений или разговоров: воля, куда более властная, чем рассудок, руководила сейчас каждым его движением и мыслью. Прежде всего, следовало сразу же после отлета Конашевича незамеченным нырнуть в темь и, опередив Полину, первым оказаться в большом доме, за перегородкой, отделявшей врачебный кабинет от ее жилья, и, когда она только войдет туда, нажать курок. Главное, убеждал себя Федор, не дать ей заговорить, открыть рта: он боялся, что самый ее голос может лишить его силы. «Не о чем мне с ней разговаривать, — мысленно повторял и повторял он, осваиваясь с темнотой за перегородкой, — не о чем, поговорили вдоволь, хватит!»

Ему были известны в этой комнате каждый закоулок и всякая вещь. Любое прикосновение к чему-

либо больно ранило память: слишком многое здесь было с ней связано. Так, ощупывая предмет за предметом, он добрался до висевшей над кроватью портупеи с пристегнутой к ней кобурой. Прохладная сталь пистолета, остудив ладонь, только придала ему решительности. «Лишь бы не заговорила, — снова испугался он, — лишь бы не заговорила!»

Сначала Федор услышал голос майора, просительно окликавшего ее, затем быстрые, судя по легкой поступи, женские шаги, которые тут же пресеклись шлепающим топотом:

— Полина, стой, надо же в конце концов объясниться.

— Не надоело тебе, Виктор? — послышалось на ступеньках крыльца. — Десять лет объясняемся.

Ступеньки опять скрипнули, но уже тяжелее, напористей:

— В последний раз, Полина, честное слово, в последний раз. Когда-нибудь надо же кончать.

Коротко взвизгнула дверь: Полина вошла к себе и уже из комнаты откликнулась со злым вызовом:

— Что ж, заходи, Виктор, если вправду в последний раз. Пора тебе, Виктор, закругляться, я сыта по горло.

— Хорошо, Поля, хорошо, — майор за перегородкой дышал трудно, со сбоем, — давай по порядку, мы не дети.

— Еще бы! Детей ты, Виктор Николаевич, на смерть посылаешь, — она не скрывала ярости, — своих нет, так ты чужих туда!

— Подумай, что ты говоришь, Поля, я выполняю задание государственной важности, родина оказывает этим ребятам свое высокое доверие. Партия поручила мне...

— Прекрати, Виктор, ты не на собрании, а я плохой объект для твоих воспитательных талантов. Ты, Пашин, идейный-идейный, а своей выгоды не забыва-

ешь, Борьку моего не ради партии утопил, ради своего удовольствия: Полькой Демидовой попользоваться захотел. Попользовался, Пашин, попользовался, Виктор Николаевич, переспала я с тобой, жизнь Борькину вымолить думала, да разве такие, как ты, способны на жалость?

— Но, Поля, он же признал себя виновным по всем пунктам, — спокойствие майора явно давалось с трудом, — и в связях с группой Косарева, и в саботаже.

— Признал! Будто ты не знаешь, не ведаешь, как у вас люди признавались, напраслину на себя наговаривали?

— Полина Васильевна, не забывайте, что вы тоже работник органов, стены слышат, враг начеку, за такие слова вы можете понести ответственность по всей строгости. — Но не выдержал тона, виновато сорвался: — Поля, ты же знаешь, революция требует жертв, лес рубят, щепки летят, не он первый, не он последний.

— Для вас, может быть, а для меня и первый, и последний! — продолжила она почти со стоном. — И не пугай ты меня, Виктор Николаевич, после Бориса ничегошеньки я не боюсь, жить мне нечем да и незачем.

— Хорошо, Поля, хорошо, — тот безропотно сдавался, — я понимаю, Поля, успокойся.

— Брось за мной по пятам таскаться, Пашин, всё равно ничего не получится. Не удержат меня твои высокие дружки около тебя, так или иначе, но скроюсь. Лучше уж с первым встречным, чем с тобой.

— Ты себе хозяйка, Поля, но зачем же вот так — напоказ? Люди же видят, разговоры начинаются. — Майор едва не молил. — Это у тебя пройдет, Поля, это от обиды. Я подожду, Поля, подожду.

— Нет, Виктор, не жди, не пройдет! Для меня любой из них, как Боря: зеленые мальчики, которых

вы на смерть посылаете. Никакой радости у них позади, ни любви не знали, ни женщины. Так пусть хоть напоследок облегчатся, им умирать легче, а от меня не убудет. И не приставай больше, завтра же рапорт на фронт подам, не останусь я здесь, а не отпустят, руки на себя наложу, застрелюсь. Мне около тебя дышать нечем.

— Ладно, успокойся, Полина, ложись. Утро вечера мудренее. Завтра без горячки поговорим.

— Уходи, Виктор, и не показывайся мне больше на глаза, — голос ее перешел во взбешенный шепот, — не доводи до краю, если мне своей жизни не жалко, то твоей и подавно, у меня рука не дрогнет. Уходи!

Чуть слышно захлопнулась дверь, и в тишине, наступившей за этим, Федор услышал за перегородкой сдавленный всхлип: Полине заметно стоило усилий не разрыдаться. От его недавней решимости остались только опустошающая усталость и стыд. Стыд за себя, за нее, за майора и еще за что-то такое, чего он и сам покамест не мог определить, выразить отдельным понятием или словом. «Вот и всё, — пронеслось в нем, — и вся любовь до копейки».

За перегородкой вспыхнул свет, качнулся и, приближаясь, потек в проем смежной двери. Полина появилась на пороге с керосиновой лампой впереди себя и, едва увидев сидящего на кровати Федора с пистолетом в поникшей руке, поняла всё. Ее заплаканное лицо мгновенно потухло, заострилось, пошло тенями.

— Эх, Федя, Федя, — еле различимо выдохнула она, — за что тебе такая тяжесть, за какую вину? Поднимешь ли...

Ему нечего было ответить ей, в словах теперь не оставалось ни нужды, ни потребности. В эту минуту горло его стиснулось такой пронзительной жалостью к ней, к ее беде и беззащитности, что, молча проходя мимо нее, он не выдержал и бережно коснулся ладонью ее волос.

Вернувшись в караулку, Федор застал ребят мертвецки спящими прямо за неприбранным столом, а утром уже стучался к майору с письменной просьбой о переводе в распоряжение здешней комендатуры. И по легкой поспешности, с какой майор не глядя наложил утвердительную резолюцию, его осенило, что тому о нем с Полиной давно всё известно. «Носов, — запоздало догадался он, — сума переметная!»

Та же полуторка с тем же старшиной за рулем тащила Федора голыми перелесками в обратную сторону. Оттеснив его в угол кабины, старшина, как и в прошлый раз, бесился, остервенело сплевывал, поругивался:

— Надоело, твою мать, гоняют туда-сюда, как извозчика, чуть что, фронтом пугают, туды твою расуды! А чего мне фронт, я почище виды видывал, такие воронки водил, до сих пор волос дыбом стоит, одни маршала с наркомками, битком, как сельди в бочке, стоймя под себя ссали, мать твою бабушку!

Дорога вынесла их в луговой простор, и тут, на стыке леса и жнивья, Федор в последний раз увидел Полину. Она стояла среди безлистных берез и, щурясь от солнца, пристально следила за ними. Глядя на ее устремленную вдогонку своему собственному взгляду фигуру, Федор вдруг ответно просветлел и вытянулся: «Прощай, Поля, Полина, Полина Васильевна, товарищ Демидова. Дай-то тебе Бог того, чего хочется!»

.....

— Здравствуйте, Полина Васильевна. — И тут же нерешительно поправился: — Здравствуй, Поля...

Чуть заметно сотрясая стекла, вдали за окном гудело и погрохатывало.

Сверху остров походил на корабль или, скорее, на большую, поднявшую над водой плавники и хвост рыбу. По мере снижения, суша под крылом самолета росла, растекалась, выявляя на своей поверхности цвета, оттенки, рельефные особенности, с редкими вкраплениями хозяйственных и жилых построек. Сахалин, плавно покачиваясь с боку на бок, устремлялся навстречу Золотареву.

Остров встретил его морозящей сыростью. Со стороны моря тянуло сладковатым запахом водорослей, на траве, листьях, хвое деревьев, крышах оседала липкая изморось, все вокруг выглядело осклизлым, волглым, разбухшим.

Встречала его целая компания местных чинов, среди которых выделялся дородностью и руководящей повадкой высокий, сравнительно молодой еще парень, отрекомендовавшийся начальником Гражданского управления острова Приходько.

Гурьбой, на двух стареньких «газиках», они отправились, как выразился один из встречавших, на «русскую хлеб-соль». Дорога вытягивалась вдоль низких, барачного типа, только с плоскими крышами, построек, еще сравнительно ухоженных, с огородными палисадничками перед каждым.

Поглядывая сквозь ветровое стекло на эту японскую идиллию, Золотарев невольно усмехнулся про себя, заранее представляя, в какие развалюхи и хляби превратится она — эта идиллия, — когда сюда пьяной саранчой нахлынет орава вербованных, состоящая из среднерусских мужиков и недавних головорезов штрафных рот.

Словно угадывая его состояние, сидевший сзади Приходько произнес:

— Постепенно ломать будем эти карточные домики, не для русского человека такое жилье: ни печки путной, ни устойчивости, жилец в нем, как в спичечной коробке! Вот и приехали!

Чайная, у которой они остановились, располагалась в деревянном и потемневшем от ветров и сырости особнячке с боковым входом для важных гостей, стоявшем на взгорье, откуда виднелось море.

За много лет службы на высоких должностях Золотарев изучил ритуал этих дежурных застолий до мельчайших подробностей, но, не будучи к ним особо расположен, умел — и всегда вовремя — выйти из игры, тем более это легко было сделать здесь, где он оказался в кругу подчиненных. Поэтому, когда торжественные тосты были закончены и гостевание начало заметно переходить в заурядную попойку, он поднялся:

— Делу время, как говорится, у нас с вами большое хозяйство, товарищи, работать пора. Товарищ Приходько, познакомьте меня с вопросами.

Тот покорно поднялся:

— Есть познакомить с вопросами, — сообразительно принял он тон гостя. — Пора, товарищи. Прошу ко мне, товарищ Золотарев.

Золотарев по опыту знал, что творится сейчас в головах собутыльников, но не в его правилах было всерьез принимать настроения подчиненных: потерпят, ему тоже приходится порою терпеть: полез в номенклатуру — терпи от старшего и дави на младшего, так компенсируется в их среде уязвленное самолюбие, не маленькие — должны знать!

В кабинете начальника Гражданского управления Приходько он по-хозяйски сразу же уселся за стол:

— Ну рассказывайте, что тут?

Золотарева не интересовало положение на остро-

вах, он получил необходимую ему информацию еще перед отъездом, но это было в их среде правилом или некой повинностью, которую он отбывал, чтобы сохранить лицо, проявить свою власть, поставить подчиненного на место. И Приходько принимал его игру тем легче, что на месте гостя он поступал бы точно так же:

— Главный вопрос сейчас — переселение японцев, их присутствие действует на приезжающих разлагающе. Затем — жилье, но с этим пока обойдемся, народ у нас выносливый, кому не достанется — перезимуют в землянках. Ну и, конечно, продовольствие. Завоз идет с перебоями, хотя, в крайнем случае, тоже перебьемся...

Тот колыхался перед ним своим большим телом, преданно устремлялся к нему широким лицом, с солидным видом хитрил этими самыми «с одной стороны», «с другой стороны», но слова его почти не задерживались в сознании гостя. Мысленно Золотарев уносился сейчас к своей молодости, к той единственной для каждого поре, откуда всю жизнь на человека наплывают сны и видения, запахи и краски, лица и голоса.

Путь, что прошел он от первой деревенской горечи, казался ему теперь по-настоящему непостижимым. Как, по какой воле сычевский мальчик мог пройти этот путь, не погибнув и не оказавшись среди тех миллионов, какие сгнули в гнилых бараках лагерной системы? и что, наконец, определило его судьбу?..

— Да, вот еще что, — голос хозяина вновь пробились к нему, — бумага тут одна из Москвы поступила, чудят, ей-Богу, будто нам здесь больше делать нечего, как приходы открывать! Вот полюбуйтеесь...

И то, что Золотарев увидел и прочитал, резануло его под самое сердце и голова у него пошла кругом: вот она, судьба-то, не успел спросить — уже отвечено!

В бумаге, которую пододвинул ему хозяин, Все-союзный совет по делам церковей предписывал Граж-



данскому управлению — и уж кто-кто, а Золотарев-то знал, что не без указания с самого верха, — открыть в Южно-Сахалинске церковный приход и рекомендовал для замещения должности проживающего на островах гражданина Загладина Матвея Ивановича.

Так вот оно что, так вот зачем жизнь провела его сквозь всё, так вот отчего тревожила столько лет! Затем лишь, оказывается, чтобы привести его сюда, на эти Богом забытые острова, на встречу со свидетелем его позора, его слабости, его несчастья, да с тем, чтобы по дороге устроить ему свидание с другим свидетелем.

Ему стоило большого труда не выдать себя, овладеть собой и сразу же перевести разговор на невинную тему:

— Для начала город бы надо посмотреть, с людьми познакомиться да и проветриться заодно.

У Приходько заметно вытянулось лицо: чутьем, воспитанным в той же, что Золотарев, среде, только рангом пониже, он понял, что совершил ошибку, но никак не мог догадаться, какую именно, и от этого мучился еще больше.

Потом, тенью следуя за Золотаревым по деревянным тротуарчикам города, тот услужливо дышал у него за спиной, всё пытаясь загладить возникшую неловкость:

— Ошибки у нас бывают, — еще Ленин говорил, не ошибается тот, кто ничего не делает, — но на ошибках учимся, критика и самокритика у нас в почете, делаем выводы, переходим на новые рельсы.

Но теперь уже Золотареву было не до него, всё в нем сосредоточилось сейчас на одном имени: Матвей Загладин, — а все другое кануло в прошлое и к нему, этому прошлому, возврата уже не было.

А тот всё бубнил и бубнил позади, за плечом:

— Дел невпроворот, иногда заработаешься до того, что соображать забываешь, такая наша доля ру-

ководящая! — И уже доведя его до гостиницы, почти прокричал ему в затылок: — Товарищ Золотарев, войдите в мое положение, я ведь тоже человек!

Но Золотарев и тут не ответил, захлопнул перед носом у того дверь и, оставшись наедине с собой, забылся в мутном, почти без сна, беспамятстве.

## 2

И вдруг ему почудилось, будто кто-то зовет его: тихо, душевно, сочувственно:

— Ильюша, Илья, Илья Никанорыч!

Голос был знакомый-знакомый, только какой-то глуховатый, как бы неживой. Золотарев открыл глаза, пошарил взглядом по пустой комнате, но, никого не обнаружив, снова было задремал. Но стоило ему смежить веки — всё повторилось сначала:

— Ильюша, Илья, Илья Никанорыч!

Это уже его просто испугало, но, чтобы стряхнуть с себя наваждение, он быстро оделся, подаваясь вон из дому, в ночь, в город, куда глаза глядят.

Сырая без звезд ночь нависла над городом, в домах посвечивали редкие огоньки, даже собачий лай слышался в этой темени глухо и сдавленно, словно из-под ваты.

И только тут, на улице, Золотарев понял, что услышанный им голос звучит не вовне, а в нем самом, и вдруг во взорвавшемся в нем сердце возникло имя, принадлежащее этому голосу, и было ему звучание: Мария! И только поняв это, он приготовился ко всему.

Сомнамбулически двигаясь на запах водорослей, Золотарев не разбирал дороги, шел без единой мысли, без цели или направления. Его вела сила, у которой нет ни имени, ни обозначения, и только ей — этой силе — он сейчас подчинялся и только ею руководствовался.

Сознание стало возвращаться к нему, когда впереди, на самом стыке земли и моря, перед ним обозначилось красное пятно костерка и он направился туда, постепенно приходя в себя. «Ишь ты, — удивлялся Золотарев, — как лунатик!»

Костерок оказался у небольшого причала, пылал уже затухающим пламенем, освещая нескольких то ли геологов, то ли рыбаков, и край большой лодки.

— Здравствуйте, товарищи! — Подойдя ближе, Золотарев присел позади них на корточки. — Приятного аппетита.

Никто не отозвался, даже не повернулся в его сторону, все продолжали есть, не обращая на него внимания. И только единственная среди них женщина молча протянула ему ложку.

Решив, что отказываться неудобно, он подсел ближе и для приличия пригубил из котелка ложку-другую довольно жидкой ушицы.

Ели они бережно, со вкусом, словно молились, придерживали ложки снизу, видно, дабы не обронить даже капель, что почти развеселило Золотарева: это у моря-то!

Лишь закончив, один из них, тот: что постарше, с тронутым оспой узким лицом, спросил:

— Откуда будете?

— Из Москвы.

— А, — не проявил особого интереса тот, — народу, говорят, много, так ли?

— Хватает.

— В гости сюда или как?

— По делу.

— А, — опять безо всякого интереса протянул тот и умолк.

— Что ж у вас ушица-то того, жидка? У моря живете!

На этот раз не ответил никто. Их молчаливые лица качались перед ним в светотени затухающего

костерка и в этом молчаливом покачивании ему просто не было места, он не существовал для них, не присутствовал, не жил.

И снова он каким-то непонятным ему внутренним видением, которое, впрочем, длилось не более мгновения, внезапно и коротко проник, что это когда-то уже было с ним, но память тут же смыла призрак и он двинулся от костра опять в ночь, в город, куда глаза глядят.

Но в последнюю минуту он не выдержал, обернулся и захлебнулся собственным дыханием: женщина у костерка смотрела ему вслед с протяжным и долгим сочувствием, словно желая напутствовать его:

— Ильюша, Илья, Илья Никанорович!

### 3

*Примерно в то же самое время над землей загорелась новая звезда. Трудно тогда было представить, что же она собою знаменует: то ли конец света, то ли Новое Пришествие. Не случилось ни того, ни другого. Но вскоре было замечено, что по всей стране стали рождаться мальчики и девочки, которые, к величайшему ужасу родителей, начали задавать вопросы.*

*А к концу пятидесятых и в начале шестидесятых эти мальчики и девочки перешли от вопросов к прямым действиям. Мальчиков и девочек стали пачками и в одиночку отправлять в места не столь отдаленные и места, где из них пытались сделать мычащих инвалидов с последующей припиской к психдиспансерам по месту жительства.*

*Но процедуры эти над ними совершали, как правило, тоже мальчики и девочки, только воспитанные в лучших традициях вечного принципа «моя хата с краю».*

*Это были, не в пример своим родителям, вымуштрованным в далекие времена, вполне цивилизованные особи. Они не орали на допросах и — упаси Боже! — не рукоприкладствовали, они только задавали вопросы, правда, лишь служебного свойства и особенно были пристрастны к разговорам по душам.*

*И вот один из них, мучаясь своей сыскной совестью, спросил на допросе девочку, которая вышла на площадь ради абсолютно далекого и мало знакомого ей народа:*

*— Так скажите все-таки, зачем вы это сделали, зачем, ведь это абсолютно бесполезно!*

*И девочка ответила ему:*

*— Я сделала это для себя, иначе я не смогла бы продолжать жить, и к этому мне нечего добавить.*

*Была звезда, и хотя не было волхвов, мы теперь знаем, что звезда эта предзнаменовала Пришествие к нам Совесть.*

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### 1

*Открытый океан. Полночь. Тонущий пароход. Человек посреди крика и стремительно пустеющей палубы наедине с самим собой. Разговор:*

— Ты кто?

— Твоя судьба.

— Что скажешь?

— Ты удивлен?

— Нет, я заранее знал, что приговорен.

— У тебя есть вопросы?

— Всего один.

— Я слушаю.

— Ты позаботилась о том, чтобы я сел именно на этот плавучий гроб, еще в молодости предупредив меня о моей участи, но, скажи на милость, почему, за какие грехи вместе со мной должно погибнуть столько невинных?

— Успокойся, двадцать лет я собирала вас по всей земле на эту посудину, поверь — это была хлопотная работенка!

### 2

Утлый катерок Федора тарыхтел вдоль Курильской гряды, направляясь к родному причалу. Вода за бортом стояла тихая, почти без морщинки на сизой поверхности, небо над нею отсвечивало умытой синевой, горизонт впереди обещал погожую ясность, и только сбоку, поверх черной цепочки островов, кое-где клубились дымные шапки. Кругом было свежо, безветренно, тихо.

С новым для себя делом Федор освоился быстро, сгодилась ему его недолгая шоферская практика, катерок под его руками с толковой исправностью хлопотал свою нехитрую службу: развозил почту по хозяйствам, мотался с попутными оказиями, но более всего состоял при начальстве, удовлетворяя транспортные нужды местного ИТРа.

Островная жизнь Федора мало-помалу втягивалась в привычную колену, становилась буднями, повседневностью, бытом. Теперь отсюда, с высоты времени и пространства, деревенское прошлое выглядело таким далеким и призрачным, что порою казалось — и не существовало его вовсе. И лишь изредка, по ночам, просыпаясь, он вдруг сладостно затихал в краткой, как вспышка, грёзе: студеный вечер за окном перед Крещеньем, дотлевающие под белым пеплом уголья в распахнутом поду печи, кислый запах теста по всей избе, и над всем этим, сквозь это — текущее к нему сюда, через годы и версты, прерывистое воркование сверчка. Господи, утоли его печали, восхити его душу грешную!

За спиной у Федора в сумраке пассажирской каюты брала разгон разговорная карусель нарастающей пьянки. Руководящая тройца острова — начальник отдела Гражданского управления Пономарев, его заместитель по политчасти Красюк и кадровик Пекарев возвращались с предпраздничного угощения на Парамушире и, судя по всему, закругляться в ближайшие дни не думали, хотя накачивались из них только первые двое, третий — вечно взъерошенный горбун из спецчасти — в гульбе не участвовал, слыл на острове трезвенником, был неизменно въедлив и вездесущ, а поэтому одинаково нелюбим всеми.

В беспорядочном галдеже застолья по-обыкновенно преобладал пропитой басок Пономарева:

— Ты меня слушай, Красюк, ты еще под стол пешком ходил, когда я уже в органах работал, в кол-

лективизацию чуть не по всей Украине кулачье чехвости, долго будут Пономарева помнить, кровососы мужицкие! Я с самим Всесоюзным старостой, товарищем Калининым Михаилом Ивановичем, лично, как с тобой, за ручку здоровкался, тогда еще целая была, рубала врагов народа без пощады и снисхождения! Я в заградотрядах целые фронты от паники выручал, мне генерал Серов своей рукой медаль на грудь привинчивал, кабы не шальная мина, до каких чинов дошел бы, а ты говоришь!

Замполит, хохол, себе на уме, с вечной, будто приклеенной к тугому лицу хитровой усмешкой, не подаваясь хмельной развязности, покладисто приноравливался к хозяину:

— Мы за старыми кадрами, как за каменной стеной, Василий Кондратыч, поперед батькá в пекло не лезем, от старой гвардии ума-разума набираемся, крепко сталинские заветы помним, без вас, без вашего опыта нам никак не обойтись, зелены еще, учиться надо...

Кадровик время от времени корректировал разговор, вставлял словцо-другое, не проявляя, впрочем, особого азарта или заинтересованности:

— Какой же может быть порядок среди контингента без дисциплины? Единоначалие — наш закон, без него пропадем, как цуцки, каждый должен знать свое место. Что бы мы в войну делали, если б без железного порядка? Спасибо вождю, вправил мозги, научил жить.

Разговор, то затихая, то вновь раскручиваясь, слился вскоре в сплошной гул, из которого в конце концов опять выделился пономаревский голос:

— Чего, спецчасть, заспешил? Или наша компания не по нраву, правду говорят, гусь свинье не товарищ... Иди, иди, паря, проветри шарики, а то, гляжу, они у тебя на холостом ходу крутятся...

Через минуту горбун появился в рубке, встал сбоку от Федора, засопел сердито, глядя впереди себя:



— Нажрутся, черти, мелют языком чёрт-те что, управы на них нет. Хорошенький пример контингенту показывают! Не хозяйство, а кабак круглосуточный! — Пожевал губами, скосил колючий глаз на спутника. — Ты, Самохин, слушать — слушай, да только помалкивай, твое дело солдатское: что видел, что слышал — военная тайна, роток на замок, как говорится, ясно?

— Наше дело сторона, — в тон ему, чтобы только отвязаться, сказал Федор, — не мы пьем, не нам похмеляться.

Катер послушно брал к берегу, остров матерел, расцветивался, дымная шапка над конусом сопки всё плотнее застила небо, отбрасывая окрест скользящую, в редких распадах тень.

— Не нравится мне что-то в последнее время эта печка, — кадровик говорил, словно про себя: глухо, задумчиво, с расстановкой, — копотит больно много, не загудеть ли собралась? Если по-настоящему разойдется, костей не соберем, такая у нее слава. — По резкому, в кустистой щетине лицу горбуна промелькнула издевка. — Не боишься, Самохин?

— Волков бояться — в лес не ходить, — по-прежнему норовил отговориться Федор, — как на фронте у нас говорили: позади Москва — отступить некуда, приказ — стоять насмерть! — Он сбросил скорость, плавно вырубивая к пирсу. — Чему быть, того не миновать.

— Ну, ну, Самохин, ты, я гляжу, за словом в карман не лезешь! — У того явно пропала охота продолжать беседу, — все нынче разговорчивые сделались, война разбаловала, укорачивать пора. — Кадровик с пристрастной цепкостью следил за тем, как Федор причаливал, швартовался, глушил машину. — Знаешь свою работу, Самохин, хвалю. — Прежде чем сойти на пирс, горбун в последний раз обернулся к нему, осветил на него в упор упрямыми глазами. — Запри их, пускай у тебя проспятся, чтобы на людях в таком виде

не показывались, головой отвечаешь, Самохин, понял?

И, не ожидая ответа, резко застучал каблуками сапог по деревянному настилу пристани, будто целую жизнь только и делал, что отдавал приказы во все стороны.

Федору даже заглядывать не пришлось в каюту, доносившееся оттуда похрапывание говорило само за себя. Осторожно, чтобы не разбудить спящих, он задрал входную дверцу и, не задерживаясь более, подался на берег.

### 3

Дома Федор никого не застал. Он заглянул к Овсянниковым, но дверь у них тоже оказалась на замке. День на дворе стоял нерабочий, гостевать им ходить было не к кому, поэтому гадать Федору не приходилось: «Опять у Матвея сборище, — решил он, — нашли себе забаву!»

Вскоре после той их первой встречи в чайной Федор стал замечать, что старики его наладились подолгу отлучаться на выпасы к Загладину, прихотив к этому и соседей. Сначала он лишь посмеивался над старческой блажью: чем бы дитя ни тешилось! Но со временем его все чаще посещало неясное предчувствие перелома в своей судьбе, который непостижимым пока образом связывался в нем именно с этими родительскими бдениями у Матвея. Порою Федора даже подмывало самому пойти туда, прикоснуться к запретному, заглянуть в бездну, но всякий раз, когда он уже было решался, обязательно возникала какая-нибудь помеха, отвращая его от пугающего соблазна.

Спускаясь теперь по винтовой тропе к прибрежным луговинам, Федор внутренне еще сопротивлялся, еще силился объяснить себе свою внезапную реши-

мость простым любопытством, но воля, куда более властная, чем руководившие им самооправдания, подсказывала ему, что сегодняшний путь его был уже когда-то и кем-то заранее предопределен.

В сиянии погожего дня ничто не предвещало ненастья или беды. Берег внизу упирался в безмятежную воду. Над сопкой висело обычное облако, правда, уже с первыми черными полосами. Над прибрежными лугами, над ольховником, над крышами домов висела легкая дымка. Было тихо, умыто, празднично.

Федор спускался вниз в том расположении духа, когда мир кажется простым и податливым, собственное тело почти невесомым, жизнь долгой и многообещающей. «Далось бы только здоровье моим старикам, а уж остальное — моя забота!» Даже крысы, шнырявшие под ногами, не вызывали у него, как прежде, ни брезгливости, ни отвращения: «Тоже тварь живая, тоже свое хотят!»

Еще издалека он разглядел у пастушьей землянки устремленных внутрь ее людей, а подойдя ближе, услышал доносившийся оттуда голос Матвея:

—...И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась на свое место, а Египтяне бежали навстречу воде, так потопил Господь Египтян среди моря...

Впереди, в землянке, освещенной только коптилкой, Федору бросились в глаза лица родителей, Овсянникова и, что он уж никак не мог ожидать, Любы. Робкий огонек отбрасывал на них тени, мешая со светом, и от этого все они казались ему не теми, обычными, какими он привык видеть их в обыденной жизни, а преисполненными некоей особенной торжественностью, словно на кладбище или важном собрании.

—...И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоился народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию...

Матвей стоял лицом ко всем, в руках у него была толстая книга, на носу очки, а в трубном басы его неожиданно слышалась голосовая слеза:

—...И двинулись из Елима и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли Египетской. И взропало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне...

Еще днем раньше Федор едва ли мог принять все эти сказки всерьез, но чем дальше он слушал, тем сильнее представлялся ему этот неизвестный и непонятный ему народ, который с такими трудностями рвался, да куда — в пустыню! — тем более проникался он их мукою и судьбою, их бедой и делом.

Когда Матвей кончил, Федор, не ожидая своих, стал подниматься вверх и по дороге всё представлял себе, как они идут и идут, по кругу, идут и идут.

И так — без конца.

«Может, и мы так-то вот, — идя, всё повторял и повторял про себя он, — бредем, бредем, глядишь, и выбредем к верному месту?»

*Один из них был рядовым евреем из Риги на вольном хождении по прозвищу «Тридцать три несчастья», а второй — начальником лагеря, разница, как говорится, небольшая, но существенная. Еврей разменял из своей десятки первый пятерик, а начальник уходил на повышение, тоже, в известной степени, дистанция. Опять же, начальник ел и пил, а еврей только убирал за ним, но в остальном они были почти друзья.*

*Перед отъездом полковник в последний раз вызвал еврея к себе для душевного собеседования.*

*— Бери, пей, — он налил тому рюмку коньяку, — без дураков, заслужил: за пять лет ни одного взыскания.*

*— Благодарю вас, гражданин полковник.*

*— Скажи честно, неприкосновенность гарантирую, ты когда-нибудь замечал во мне чего-нибудь особенное?*

*— Если честно, то да, гражданин полковник.*

*— Говори — чего?*

*— У вас один глаз стеклянный, гражданин полковник.*

*— Какой именно?*

*— Левый, гражданин полковник.*

*— Вот чёрт пархатый, а ведь он так хорошо подделан, у лучшего глазника в Москве заказывал. Как угадал?*

*— А в нем есть что-то человеческое, гражданин полковник.*

Голос рыбного министра униженно вибрировал в трубке, слова набегали одно на другое, тот захлебывался словами:

— Товарищ Сталин... Как коммунист... Как верный солдат партии, я обязуюсь ликвидировать прорыв... Лично вылетаю на место стихийного бедствия. — Министр перешел на умоляющий хрип. — Костыми лягу, товарищ Сталин...

Он не стал дослушивать, положил трубку: пусть выкручивается теперь, старый боров! Он знал, что после такого телефонного оборота этот вахлак будет землю носом рыть, но положение выправит. Чёрт бы их побрал, эти стихийные бедствия! Едва кончилась война, они, словно сговорившись, принялись наваливаться на страну след в след: засуха на Украине, затем в Молдавии, а вот сейчас это самое цунами на Курилах. И всякий раз приходилось затыкать всё новые и новые дорогостоящие дыры, перекраивать бюджет, искать и наказывать виновных. Никак не удавалось прочно подняться на ноги, чтобы вновь взять за шиворот вчерашних союзников, которые наивно полагают, будто он удовлетворится, наконец, тем, что ему принес тучный послевоенный раздел. Как бы не так, господа хорошие, как бы не так, не для того он годами отстраивал эту махину, рисковал судьбой и преступал все заповеди, чтобы довольствоваться частью: всё или ничего, и, как это сказано там, в Евангелии, пусть мертвые хоронят своих мертвецов!

Он снова опасливо скосил глаза на лежащую сбоку от него «тассовку»: «С 10 по 14 ноября происходило крупное извержение одного из действующих вулканов Курильской гряды. Подземные толчки...» Дальше следовали подробности, которые его мало интересовали и в которых он не усматривал особого проку: ничего уже нельзя было ни предотвратить, ни поправить. Те-

перь оставалось найти виновных, а затем начинать всё заново. Виновные же, разумеется, найдутся, он всегда отказывался считать стихию смягчающим обстоятельством, по опыту знал, только попусти, каждый начнет оправдывать свое разгильдяйство всякими субъективными и объективными причинами: в болтовне утопят страну. «Взялся за гуж, — он вдруг вспомнил Золотарева, посожалев лишь о том, что не успел проверить этого туляка в деле, лишний раз убедиться в своем знании человеческой природы и собственной прозорливости, — не говори, что не дюж».

В нем давно выработался спасительный инстинкт самосохранения от праздных раздумий по какому-либо конкретному поводу. Это помогало ему принимать решения, не растекаясь в деталях или подробностях, что, в свою очередь, обеспечивало таким решениям немедленное воплощение в реальность: Золотарев, вместе с его васильковыми глазами и собачьей преданностью, мгновенно отошел от него в небытие, уступая место новой теме и новому имени.

Имя это значилось в Указе, с утра лежавшем перед ним на столе в ожидании его утвердительной визы. С этим Указом, а вернее, с этим именем у него была связана целая, чуть не сорокалетняя история, которая, по его мнению, заслуживала теперь достойного завершения. Облегченно перестраиваясь на шуточный лад, он поднял трубку «вертушки», набрал однозначный номер:

— Зайди, Лаврентий, — на этот раз даже его гортанное произношение показалось ему кстати, — дело есть, Серго крестить пора...

Он с детства не любил своего грузинского акцента, вязко напоминавшего ему о его плебейском происхождении. С завистью вслушивался он в свободный выговор своих сверстников из дворянских семей, где русский язык считался обиходным, отмечая, с какой легкостью переходили они от раскатистого грузинско-

го «э» к почти беззвучному русскому «е», произнося чужие «ш» и «ч» без единого свистящего звука. Его детская зависть к ним, к их облику, к их внешнему превосходству, хотя почти каждый из них и влачил то же самое полунищенское существование, — в Грузии, как известно, на каждого нищего три дворянина, — с годами обратилась в жгучую, трудно преодолимую ненависть, которой долго потом, после победного похода Одиннадцатой Армии по Закавказью, он насыщался, но так и не насытился, только поостыл с годами. И поэтому, когда хваткий кутаисец Давид Рондели, явно угождая ему, снял незамысловатую, но злую комедию о двух беспортошных князьях из Эристави, он осыпал сообразительного мэтра щедротами и периодически просматривал ленту, всякий раз удовлетворенно покатываясь со смеху. По-кавказски укорененно презирая русских и всё русское вообще, он жаждал выглядеть со стороны чистокровным русским, чтобы по праву смотреть свысока на инородцев и их жалкие подражания чужому величию...

Берия вошел, даже скорее вскользнул, по обыкновению без стука, весело поблескивая на него преданными стеклышками пенсне в предвкушении предстоящей забавы. Не спуская с хозяина понимающих глаз, приблизился к столу, остановился рядом, но не сел, молча устремленный к нему сердечностью и сопереживанием момента.

Это была их давнишняя игра, какую они время от времени разыгрывали себе на потеху с людьми из ближайшего окружения. В строгом соответствии с загодя и тщательно отрепетированным сценарием он так же молча кивнул гостю на телефон.

Бережно подтягивая к себе трубку, Берия по-прежнему продолжал заговорщицки светиться ему в глаза, слегка сотрясаясь от смешливого удовольствия, но едва заговорил по телефону, как в голосе его прорезалась привычная повелительность:



— У тебя готово?.. Соединяй. — И деловито подбираясь, прокашлялся. — Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Сергея Ивановича... Кто просит? Смотрите, какая любопытная гражданка! Старый друг просит... Гражданин Кавтарадзе не платит за телефон? Ай-ай-ай, скажите пожалуйста, партиец с дореволюционным стажем, профессиональный дипломат, кристальной души человек, детей любит, а он, оказывается, еще и злостный неплательщик! Накажем, честное партийное слово, накажем, в крайнем случае, гражданка, за него уплатит центральный комитет векепебе. — Голос у того вдруг резко пресекается. — А теперь позови Кавтарадзе и — быстро: говорят из органов! — Одобряя исполнительность абонента, победительно осклабился. — Серго! Здравствуй, Серго! Кто говорит! Ну, не квартира, а кружок любознательных, хоть сейчас наряд с ордером высылай. Лавруша говорит. Узнал?.. Ну, какой же я тебе «товарищ Берия»! Лаврушка, Лаврентий, как хочешь называй, только, пожалуйста, без официальных. Рука об руку революцию делали, а теперь величаться будем, брось! Только сегодня узнал, сам понимаешь, мои молодцы донесли, что ты уже целый год, как в Москве. Целый год, Серго, и глаз не кажешь? Совесть иметь надо, дорогой, рано тебе старых друзей забывать, вот и Сосо все время спрашивает: что там Серго, как там Серго, где он? Приезжай сегодня, если не занят... Ерунда! Что значит «не в чем»? В чем есть, в том и приезжай. Да, чуть не забыл! Вот Сосо стесняется спросить у тебя сам: можно, и он подъедет? Тоже повидать тебя хочет, соскучился. Втроем посидим, без баб, выпьем, споем, по-домашнему, по-мужски... Согласен? Слушай меня внимательно, Серго, ровно в двадцать один ноль-ноль за тобой заедет Саркисов...

Дальше он слушать не стал, мысленно уходя в то далекое прошлое, когда судьба впервые свела его с этим парнем из Зестафони. И хотя тот числился дво-

рянским отпрыском, держался запросто, даже с известным подобострастием, как младший со старшим, не упуская случая подчеркнуть свое почтение перед его опытом и заслугами. Парень был на шесть лет моложе, пописывал стихи, но кто их только ни пописывал в пору полового созревания, рвался в работу, не рассуждал, не мямлил, не чистоплюйствовал, делал, что приказывалось, чем в конце концов и пришелся ко двору. Он умело использовал неопита там, где самому ему было ввязываться не с руки, учил, натаскивал по мелочам, даже впоследствии привел за собою в «Правду», но хмель Октябрьской лафы многим ударил в голову, в том числе и этому зестафонцу, который в угаре митинговой болтовни оказался вдруг в троцкистской орбите, путался с Иоффе, якшался с Лариным, петлял вокруг Шляпникова и после высылки своего кумира, как и следовало ожидать, очутился за бортом. Он годами не трогал глупца, изредка напоминая тому о себе то сдержанно вежливой повесточкой из милиции по поводу законности местной прописки, то случайным приводом за мнимое нарушение уличного движения, а то — что было более крепким средством — упоминанием в дежурной статье об истории борьбы партии с фракционной оппозицией. Так, почти на протяжении тринадцати лет перепуская беднягу из холодного в горячее, он довел того до полного человеческого ничтожества, после чего, уступая просьбе Лаврентия, восстановил в партии, пристроив в МИД, на случайных загранпобегушках. Но затем опять сменил температуру: год держал строптивца без работы и хлеба, в коммунальном курятнике на окраине города. И вот сегодня тому предстояло последнее испытание...

— Слушай, Лаврентий, — вне всякой связи с недавним разговором он вдруг вновь вернулся к Курилам, — не справился твой Золотарев с заданием, дров наломал, не сумел обуздать стихию.

Тот схватил его мысль с полуслова, с полувзгляда, с полунамека: мгновенно напрягся, вытянулся:

— Мой грех, Сосо, — переходя на грузинский, семантика которого позволяла гостю эту маленькую фамильярность, Берия вкрадчиво нащупывал его настроение, — проглядел ротозея, ты не беспокойся, за всё ответит подлец, не выкрутится.

— Успеешь, — снисходительно отмахнулся он, настраиваясь на прежний лад. — Подумай лучше о крестинах, устрой так, чтобы навсегда запомнил и внукам-правнукам наказал. Крестить так крестить! — И сразу же пресек слабую попытку гостя продолжить разговор. — Ступай. Я к тебе сам приеду...

Затем он снова ушел в себя, в свое одиночество, в свои уже старческие видения: Ему никак не хотелось верить, что жизнь в нем стремительно катится под уклон, что конец близок и что химеры прошлого, так надоевшие ему в последние годы, возникают перед ним из пепла его собственного распада. Ведь, кажется, еще совсем недавно, только что, может быть даже вчера, он сидел с тем же самым Серго Кавтарадзе в прохладном подвале батумского духана и говорил с ним о женщинах, кахетинском вине, заморских странах и многом, многом другом, чего за давностью лет теперь и не восстановишь. Возбужденный хмелем и молодостью, Серго мерцал в полумраке влажными глазами, тянулся к нему всем корпусом через стол, страстно твердя:

— Ведь мы не умрем, Сосо, не умрем, ведь это не для нас, вот увидишь, Сосо, мы не умрем!

И счастливо смеялся, снова отстраняясь в полумрак и мерцая оттуда на него влажными от хмеля и молодости глазами...

Зимняя темь за окном матерела, набирала студеную силу, размножая вдали россыпи городских огней. Взгляд его снова скользнул по белевшей сбоку от него «тассовке», невольно задержался на ней. «Тьфу ты,

чёрт! — Он чуть было не выматерился вслух от охватившей его досады. — Глаза промозолила!»

Он рывком вытянул на себя верхний ящик стола, наотмашь, ребром ладони смахнул туда злополучную бумажку и резким тычком задвинул его на место, а Указ, лежавший перед ним, аккуратно сложил вчетверо, сунул в боковой карман френча.

### 3

Поздним вечером его машина бесшумно вкатилась в квадратный дворик безликого особняка на площади Восстания. Изнутри особняк был так же безлик, но компактен, привлекая удобным расположением служб и жилья. Изредка бывая здесь, он всякий раз отмечал про себя сходство этого дома с маленькой крепостью: все окна выходят в тесные проезды; вдоль Садового кольца, откуда возможно огневое оцепление, — сплошной кирпичный забор; во дворе, с тыла — глухая, в шесть этажей стена, но главное, что сразу бросилось ему в глаза еще при первом посещении, — это здание Радиокomiteта, торчавшее прямо напротив, через узкий проулок. «Окопался, сукин сын, — по обыкновению опасливо обожгло его, — на воре шапка горит, часа своего выжидает, шакал, у микрофона под боком устроился!»

Емко очерченный сзади светом дверного проема, тот уже сбегал к нему навстречу со ступенек приземистого крыльца:

— Ждет, ждет голубчик отца крестного. — Хозяин бережно подхватил гостя под локоток и бочком, бочком повлек к дому. — Извелся весь в ожидании, поверь, осунулся даже. — Принял у него шинель и, догоняя, продолжал косить в его сторону сбоку веселым глазом из-под пенсне. — Как говорится, готов, только окунуть осталось младенца. Сюда...

Стол был накрыт на троих, сверкал и лоснился хрусталем, никелем, снедью, строго топорщился крахмальной белизной скатерти и салфеток. Проходная, без окон комната тонула в теплом сумраке от низко спущенного над столом абажура с густой бахромой, и поэтому всё в ней, этой комнате: мебель, картины, портьеры на дверях — смотрелось смутно и зыбко, словно сквозь запотевшее стекло.

— Вот он, вот он, крестничек, дрожит, как нашкодивший школьник. — Хозяин ловко обогнул гостя, летучей походкой пересек комнату, отдернул портьеру. — Проходи, Серго, не стесняйся, Сосо приехал, видеть тебя хочет.

На пороге противоположной двери выявилась безликая фигура, сутуло устремилась было к нему, но тут же замерла, согнувшись чуть не в пояском приветствии:

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович...

— Брось эти величания, Серго, — хозяин уже подталкивал того сзади, посмеивался, мельтешил стеклышками пенсне, — Сосо к тебе как к другу пришел, обнять тебя хочет, а ты со своими официальностями, нехорошо получается. Иди, иди, не бойся, не укусит.

И чем ближе тот подступал к нему, тем неуютнее становилось у него на душе: он вдруг разглядел в этом сутулом старике, который, кстати, был на шесть лет моложе его, свое собственное отображение. И хотя его давно донимала мысль о старости, ему в голову не могло прийти, что дело зашло так далеко и что возраст уже сыграл с ним такую скверную шутку. Ему понадобилось некоторое усилие воображения, чтобы узнать в этой студенистой развалине бойкого парня батумских времен с белозубой улыбкой во весь рот и влажно мерцавшим взглядом. «Нет, видно, никого она не щадит, костлявая, — заключил он мысленно тот давний их разговор в духане, — всех без разбора метет».

Приближаясь к нему, тот словно ступал по тонкому льду: прежде, чем поставить ногу, инстинктивно нащупывал подошвой пол под ногами. Заглаженная до блеска шевиотовая пара сидела на нем, будто с чужого плеча, старомодный галстук поверх ветхой сорочки болтался, как петля, тщательно подстриженные, но редкие волосы почти не скрывали лысеющего черепа: тусклое подобие человека, небрежный слепок с облика разоренного игрока, пожелтевший негатив их общего прошлого.

— Гамарджоба\*, Сосо! — Гость затравленно вглядывался в него, стараясь, видно, по выражению его лица угадать необходимую дистанцию в разговоре. — Здравствуй, дорогой!

— Гагимарджес\*\*, гагимарджес, Серго, — изображая объятие, он завел руку к тому за спину, слегка похлопал по ней, успокаивая, — ну, ну, Серго, ну, ну, будь мужчиной...

Шевиотовый пиджак старика был густо осыпан перхотью, и, брезгливо отстраняясь от того, он вдруг с угрюмым злорадством повторил про себя французскую поговорку о гильотине как лучшем средстве от этой напасти.

Нет, ему было не жалко этого восторженного болтуна, посмевшего в трудную для него минуту оказаться в стане его политического противника, но он считал, что всякое правило в состоянии долго продержаться только на исключениях, от которых оно — это правило — приобретает еще большую и последовательную неотвратимость. И пусть радуется тот, кому выпал счастливый билет, тем более, если он выпал бывшему приятелю.

А хозяин уже суетился вокруг стола, вибрировал переполнявшим его озорством, гостеприимно распахивал руки:

---

\* «Гамарджоба» — грузинское приветствие.

\*\* «Гагимарджес» — ответное приветствие.

— За стол, за стол, гости дорогие, как говорит хорошая русская пословица, соловья баснями не кормят...

— Наливай, Лаврентий. — Он спешил, торопился быстрее достичь того раскованного состояния, когда слово становится уверенным и легким, а слушатель податливым. — Мне «изазеллы»!

Потом, во все протяжении застолья, он исподволь внимательно следил за беспомощно пьянеющим гостем, пытаясь составить из разрозненных, почти неуловимых черт и черточек цельный образ человека, с которым его связывала молодость, но знакомые приметы, едва сцепившись в нечто единое, тут же осыпались, вновь обнажая перед ним приблизительную анатомическую структуру, скелет, остов лица, вяло обтянутый старческой кожей.

— Ты помнишь, Серго, — его влекло, подмывало злорадное любопытство, — тот наш духан в Батуми?

В перекрестном внимании двух пар глаз, словно в скрещении света, тот метался заискивающим взглядом от одного к другому, лепетал в хмельной умиленности:

— Конечно, Сосо, конечно, помню, еще бы не помнить, эх молодость, молодость, золотая пора!..

Но в склеротических зрачках гостя, где глубоко затаенный страх лишь слегка расслабился опьянением, он безошибочно читал другое: не помнит, ничего не помнит, но будет заранее поддакивать, чтобы в очередной раз спасти свою шкуру. Боже мой, и эта заячья порода человекоподобных особей грозила когда-то перевернуть мир вверх дном и поставить во главе этого бедлама безродного еврея из Херсона.

Ни с того, ни с сего ему снова припомнилось откровенное восхищение в синих глазах Золотарева, он мысленно сравнил гостя с русоголовым туляком, и сравнение вышло не в пользу старого приятеля. «Может быть, попробовать его еще раз, — колебнулось было в нем что-то, — глядишь, потянет, за одного битого,

говорят, двух небитых дают». Но вслух сказал, отменяя сомнения и нисколько не заботясь о логике разговора:

— Проморгал Курилы твой Золотарев, Лаврентий, шкуру с него снять мало. — И добавил после короткой паузы. — Народу много, а людей нету. Запевай, Лаврентий.

Хозяин послушно прокашлялся и, прикрыв глаза, старательно вывел мягоньким тенорком: «Чемо цици, Нателла...»\*. Гости слаженно подхватили вторую строку, и песня на какое-то время соединила их в одном томлении, в одной тоске. Им не было никакого дела до грузинской девочки Нателлы, до ее любви и забот, но в этой девочке они оплакивали сейчас свою собственную судьбу, свое прошлое, настоящее и будущее, призраки своих тщетных надежд, свою малость, бездомность, одиночество. Где ты, где ты, девочка Нателла, желанный призрак, ускользящий горизонт, неутоляемая жажда?

Наступал момент, ради которого, собственно, это и затевалось. Он едва заметно, со значением кивнул хозяину, тот утвердительно сощурился, широко расплываясь в сторону гостя:

— Слушай, Серго, вот Сосо стесняется у тебя спросить, можно, он к тебе в гости поедет? Сосо хочет посмотреть, как ты живешь, с женой твоей познакомиться, будь другом, пригласи?

— Да, да... Я с радостью... И жена будет рада. — Хмель быстро улетучивался из гостя, всё в нем опрокинулось, посерело. — Только, сами знаете, коммунальная квартира, народу полно, одна комната, принять совсем негде...

Но хозяину уже было не до гостя с его жалким лепетом и оправданиями:

— О чем разговор, Серго, мы люди простые, не в княжеских хоромах выросли, нам от народа отры-

---

\* «Чемо цици, Нателла» — грузинская народная песня.



ваться не к лицу, сейчас и поедем. — Живо подаваясь к выходу, тот крикнул куда-то за портьеру, в темноту коридора. — Саркисов, машину!

4

В просветах между занавесками перед окном машины расступалась ночная Москва в редких огнях и первой наледи. Он давно привык, даже привязался к этому нескладному городу, где ему, с помощью русских подельников, удалось взлелеять и осуществить отмщение заносчивым землякам, не принявшим его когда-то в своей среде, а затем вернуться в Грузию триумфатором. Но и после этого здесь, в Москве, за надежной броней огромных людских масс и пространства, он чувствовал себя намного уверенней и неуязвимей, чем там, на собственной родине. Поэтому он не любил родных мест, заезжал туда редко, походя, неохотно, предпочитая им устойчивую громоздкость вот этих, плывущих ему навстречу улиц.

Москва еще носила на себе следы минувшего лихолетья, на затемненных окнах дотлевали бумажные кресты, от сплошных когда-то деревянных заборов оставались только обгрызанные пеньки опор, номерные фонари отсвечивали синими стеклами, ему трудно было поверить сейчас, что ровно пять лет назад, в эту же пору, обескровленная Москва всерьез готовилась сдать на милость победителя, а он, запершись у себя в кабинете, тоскливо ждал вестей из штаба Волоколамского направления: от них — этих вестей — зависела тогда судьба страны, его собственная судьба. Разве мог он предположить в те ноябрьские дни, что через каких-нибудь четыре года капризная фортуна положит к его ногам почти половину Европы, заставив согнуться перед ним надменные шеи ослабевших союзников!

Примостившись прямо против него на откидном сиденье, Кавтарадзе надсадно дышал, ерзал, прерывисто бормотал в его сторону:

— Конечно, жена обрадуется... Еще бы!.. Только принять негде по-человечески... Коммуналка, повернуться трудно... В тесноте, конечно, не в обиде... Я не жалуясь, Сосо, живу не хуже других, мне хватает, только гостей принять негде, теснота...

— Брось, Серго, приbedняться, — насмешливо пошвыривали сбоку из темноты стеклышки пенсне, — живешь в нашем здоровом коммунальном коллективе, среди народа, так сказать, в самой гуще, радоваться должен, с простыми людьми в постоянном контакте...

Машина, свернув с магистрали, принялась плавно петлять по лабиринту низкорослых переулков и вскоре вкатилась в неглубокий дворовый колодец, застыв у подъезда деревянного флигелька.

— Осторожнее, Сосо, — выбравшись из машины первым, Кавтарадзе протянул ему руку для опоры, — тьма здесь такая, хоть глаз коли, без света еще живем, по-военному...

В ночном безмолвии опытный слух его сразу же выловил шепотную переключку и скользящие шорохи: вокруг дома разворачивалась цепь наружного охранения. Эта озабоченная возня по обыкновению вызвала в нем острое сознание собственной уязвимости, стерегущей его на каждом шагу, напоминая ему в то же время о хрупкости и тщете человеческого существования. «Со всех сторон обкладывают, — мгновенно остервенился он, — как дикого зверя!»

Откуда-то у него из-за спины, под ноги к нему услужливо скользнул веерный луч ручного фонаря, и он грузно двинулся за этим лучом в провальную темень подъезда. В лицо ударило густым букетом застоявшегося жилья, душным запахом обжитой ветхости, смешением затхлой пыли с истлевающими нечистотами. Веерный луч у него под ногами скользил

по выщербленной лестнице, полз со ступеньки на ступеньку, метался на поворотах, пока не замер перед порогом обшарпанной двери, тут же взметнувшись к розетке входного звонка.

— Сейчас, сейчас, — Кавтарадзе старался нащупать кнопку звонка, но та, словно одушевленная, выскальзывала у него из-под пальцев, — спят все... Сейчас, откроют...

За дверью долго не откликались, затем хлопнула дверь, послышались шлепающие шаги и женский, явно спросонья голос:

— Кто там?

— Рахиль Григорьевна, простите великодушно, это я, Сергей Иванович, будьте так добры, откройте! — просительно заторопился тот. — У жены температура, ей трудно, наверное, встать, простите пожалуйста. — Но, видно, вспомнив о своих спутниках, вдруг спохватился, повысил тон. — Не копайтесь, Рахиль Григорьевна, быстрее!

В лязге яростно отпираемых запоров послышался откровенный вызов. Дверь распахнулась сразу, одним махом, на весь проем обозначив перед ними выявленную сзади тусклым светом коридорной лампочки женскую фигуру, шарообразные формы которой едва сдерживал лоснящийся от неряшливой носки ночной халат.

— Безобразие! — И без того пышную плоть ее распирало неистовым возмущением. — У вашей жены температура, а голова должна болеть у меня! Заявляйтесь ночью в пьяном виде, поднимаете на ноги весь дом, и у вас еще хватает совести повышать на меня голос, я этого так не оставлю, завтра же... — Тут она испуганно осеклась и, убывая, сжимаясь, высыхая в размерах, стала стекать куда-то вбок, в глубь коридора. — Простите, Сергей Иванович, я не заметила, какой портрет за вами несут...

Устремляясь следом за ней, тот напряженно приговаривал ей вдогонку:

— Спокойнее, Рахиль Григорьевна, спокойнее, идите к себе и закройте на ключ, никакого шума. — Прежде чем скрыться за дверь в глубине коридора, он виновато обернулся к гостям: — Жене скажу, чтобы оделась. Только одну минуту...

Перешагнув через порог, гость даже оробел на мгновение, до того нелепым показался он самому себе в своей маршальской шинели среди этого коммунального царства с висящими по стенам велосипедами и тазами, загроможденного по сторонам бездельным хламом и сундуками. «Живут же люди, — с содрогающим представил он себя на их месте, — как в пещерах!»

Сперва чуть слышные, голоса за дверь в глубине коридора постепенно усиливались, росли, напрягались, и, в конце концов, один из них — женский — отчетливо пробился наружу:

— ...Успокойся, Сережа, это бывает, это у тебя от неприятностей, от переживаний, это пройдет, сейчас я встану, поставлю чаю, попей, и ты придешь в себя... Тебе это мерещится... Прошу тебя, Сергей, успокойся!

Заискивающе подмигнув ему, спутник его на цыпочках протанцевал на эти голоса, без стука приоткрыл дверь, просунул в щель голову и сказал громко, но скорее не хозяевам, а туда, за спину, в коридор:

— А кто к вам приехал, принимай дорогого гостя, хозяйюшка! — И уже оборачиваясь к нему. — Заходи, Сосо, здесь все свои.

Стол был оборудован с молниеносной быстротой и максимальной незаметностью: майор Саркисов умел потрафить высокому начальству. В последовавшей после этого беспорядочной и громкой попойке он так толком и не разглядел этой самой жены Серго, которая, беспомощно похлопотав вокруг них, тихонечко ступевалась где-то в углу комнаты, между кроватью и шкафом, до самого конца не подавая оттуда призна-

ков жизни. В памяти у него отложилась лишь ее почти птичья пугливость да смоляная с проседью прядь, свисавшая у нее со лба.

Его почти не брал хмель, и, хотя про него шла молва, что перед застольем им употреблялись особые специи, он пил со всеми на равных, по-честному, но чаще всего только вино. Опьянение сказывалось в нем лишь некоторой душевной расслабленностью и тягой к грубоватым шуткам. Поэтому, едва почувствовав легкое головокружение, он не упустил случая, чтобы не подзадорить хозяина:

— Слушай, Серго, я же тебя лихим танцором помню, тряхни стариной, изобрази лезгинку!

Тот — уже без пиджака, в расстегнутой, со спущенным галстуком рубашке — пьяно засмушался, виновато заерзал кроличьими глазами по сторонам, но, тем не менее, ослушаться не посмел, поднялся и, выбравшись из-за стола, нетвердо поплыл вокруг них под собственный аккомпанемент. Но даже теперь, спустя много лет, в старческих и неуверенных движениях его заметно проглядывалось присущее почти всем южанам изящество, врожденная музыкальность, законченность жестов и ритма. Старик плыл по кругу, забываясь в танце, и по морщинистому, с набрякшими подглазниками лицу его текли мутные слезы. Чему он сострадал сейчас — этот не по годам дряхлеющий неудачник: своей судьбе, молодости, теперешнему унижению? Бог его знает! «Ладно, — окончательно решил про себя гость, — чёрт с ним, пусть живет!»

Только под утро, когда лица сотрапезников стали смутно расплываться перед ним среди частокола разнокалиберных бутылок, он вдруг вновь вспомнил о цели всей этой затеи и, небрежным жестом вынув из бокового кармана френча сложенную вчетверо бумагу, устало подытожил:

— Спасибо за компанию, Серго, пора по домам. На прощанье у меня к тебе дело: поедешь послом в

Румынию? — И, заранее отмахиваясь от возможных благодарностей, буднично зевнул. — Карандаш у тебя найдется? — Он безучастно ждал, пока хозяин метался по комнате в поисках карандаша. — Не спеши, дорогой, поспешность, сам знаешь, нужна только при ловле блох, время терпит. — Получив от хозяина случайный огрызок, намеренно по-мальчишески послонявил грифель, размашисто начертал резолюцию и протянул бумагу хозяину. — Отдай Вышинскому на исполнение. — И тотчас повернулся к спутнику. — Поехали, Лаврентий, пора и честь знать...

Он уже ничего не видел и не слышал, почти без усилия выключаясь из окружающего. Лишь оказавшись в машине, он на какое-то мгновение отметил взглядом стоящего у подъезда в одной рубашке со спущенным галстуком хозяина и с вялой механичностью махнул тому ладонью в знак приветствия.

Когда машина, вырвав из лабиринта кривых переулков, зашелестела по магистрали, он внезапно проговорил с сонной ленцой:

— Слушай, Лаврентий, ты этого своего Золотарева все-таки шлепни, стихия стихией, а отвечать кто-то должен.

И облегченно откинулся на спинку сиденья.

*Путь, который отделял теперь этих людей от земли, где они родились, от деревень, городских окраин и поселковых трущоб, откуда они отправились, отныне не измерялся днями и километрами, но только Историей и Временем. Этой дороге исполнялось в те поры тридцать, а, может быть, триста или, что еще вероятнее, три тысячи лет.*

*Ручеек Курильского переселения неслышно втекал в гудящий водоворот всеобщего русского Безвременья, бесследно растворяясь в нем, как ржа в щелочи. В сердцах сорванная со своей оси, основы, стержня, Россия раскручивала людские массы в винтовом кружении одного лихолетья за другим, перекладывая войну голодом и опять голодом и войной.*

*Растекаясь по дорогам и тропам разоренной страны, они двигались по всем сторонам света в поисках хлеба и счастья, порою останавливались, образуя на скорую руку нечто похожее на семью и жилье, но потом, словно следуя чьему-то зову, вновь поднимались с места, начиная свой путь сначала.*

*По дороге они вымирали семьями, кланами, поколениями, теряли память о прошлом и о самих себе, не замечая вокруг ничего, кроме земли под собою, их пустыня жила в них самих, и в ней им суждено было плутать до скончания века. И они плутали по ней без цели и направления, в слепой надежде когда-нибудь остановиться навсегда, чтобы обрести наконец покой и зрение. Но шли годы, а безумное шествие их все продолжалось, не суля впереди ни привала, ни отдыха, а тот, кто веще руководил ими, был так далеко, что им даже не приходило в голову попытаться обратиться к нему с вопросом: доколе? Да и шел ли кто-*

*нибудь впереди? Вполне может быть, что они двигались по замкнутому кругу и среди них не было ни овец и козлиц, ни победителей и побежденных, ни вожаков и ведомых — одни слепые, несчастные каждый по-своему.*

*— Ваня, Бог принес тебе счастье.*

*— Ишь ты!*

*— Ваня, хочешь глянуть на свое счастье?*

*— Эка невидаль, дай-ка мне лучше на Бога взглянуть.*

## 2

Пассажирский катер трофейного образца, бойко переваливаясь с волны на волну, продвигался вдоль Курильской гряды. Над межостровными проливами клубился ватный туман, поверх которого плыли, как бы повиснув в воздухе, плоско срезанные конусы низкорослых вулканов. Один из них, с особенно пологим склоном, сильно дымился, густо обкуривая высокое, без облачка небо, вдоль и поперек перечеркнутое хищным полетом чаек.

— Задымил старик-Сарычев, теперь надолго, — проследив взгляд Золотарева, опасно вздохнул Ярыгин. — Неспроста задымил, неспроста, беды не накликать бы, с него станется!

Начальник политотдела областного Гражданского управления, всякий раз неотступно сопровождавший его в поездках по островам, производил впечатление человека как бы раз и навсегда чем-то испуганного. Шепотком поговаривалось, что тот, загремев в ежовщину, успел вдоволь нахлебаться лагерной баланды, но перед самой войной неисповедимым чудом выплыл, восстановился в партии и, чтобы не искушать судьбу, навсегда осел в этих широтах. На неизменно тревожном, с резкими морщинами лице его постоянно блу-



ждала виноватая полуулыбка или, вернее, ее подобие, от которой на душе у Золотарева почему-то скребли кошки. «И не поймешь его, — поеживался он про себя, — то ли руки целовать готов, то ли вот-вот укусит».

С первого дня пребывания на острове Ярыгин следовал за ним по пятам, не отставал ни на шаг, откровенно стараясь услужить ему, и в то же время в пугливой настороженности политотдельца чувствовалась какая-то явно намеренная вязкость, словно тот выполнял при нем некий весьма неприятный для себя, но обязательный урок. Задаваться вопросом, охрана это или слежка, Золотарев не стал, благоразумно рассудив, что и то и другое ему следует принять лишь как издержки его теперешнего положения: приказано охранять, пусть охраняет, предписано следить — на здоровье, с него не убудет!

Собственно, специальных дел на островах у Золотарева не было: управление вверенным ему хозяйством осуществлялось через многочисленные государственные и партийные учреждения непосредственно из Южно-Сахалинска, но на этот раз у него возникла особая причина, чтобы, воспользовавшись удобным предлогом — наступали Октябрьские праздники, — податься в эти места. И эта причина была одна — Матвей. Как-то стороной узнал он о том, что Загладин работает скотником на этом острове.

Снова, как тогда во сне над Байкалом, Золотареву вспомнилось всё до мельчайших подробностей, и пронеслось, и запечатлелось в нем в какую-то долю мгновения. Их было тогда на разъезде двое, этих самых Загладиных, — Иван и Матвей, — и оба исчезли в ночь перед арестом Ивана Хохлушкина. Матвей всегда отличался скрытностью и, видно, почуяв неладное, ушел и увел за собой брата, как говорится, от греха подальше.

Увидеть Матвея сделалось навязчивой идеей Золотарева. Его потянуло туда, на Матуа, к Матвею, как

грешника влечет к свидетелю своего падения. И хотя он осознавал опасность для себя подобной авантюры, да еще в присутствии такого надсмотрщика, но всё же решился и под предлогом необходимости показать-ся переселенцам на Октябрьских праздниках отправился на острова.

Теперь они возвращались после митинга в Южно-Курильске, объезжая остров за островом, приближались к Матуа. Волна под носом катера шла мелкая, погода на острове не предвещала ничего неожиданного и, судя по всему, время на суше им предстояло провести без особых приключений.

— Чего там, они у вас тут все дымят! — Он снисходительно потрепал спутника по плечу. — Волков бояться — в лес не ходить.

— А вы посмотрите, Илья Никанорыч, — оробел тот от его фамильярности, но поддакивать ему все-таки не стал, — шлейф-то у него с чернецей.

— Все они тут у вас с чернецей, — снова отмахнулся Золотарев, но, тем не менее, опасливо прислушался к безмятежной тишине острова, плывущего им навстречу, — перезимуем!

Остров спускался к воде ровными, поросшими густым ольховником террасами, по которым, словно идя на приступ сопки, карабкался к ее дымящейся вершине береговой поселок. В постройках еще преобладал восточный фасон, легкие, похожие на скворешники, с плоскими крышами коробочки в обрамлении аккуратных палисадников, но местами в это хрупкое, почти карточное царство уже грубовато врезались первые челны среднерусских пятистенников: тяжеловесная поступь России медленно подминала под себя воздушный орнамент японской архитектуры.

Но — странное дело! — чем ближе катер вырубивал к берегу, тем круче и непрогляднее становилась снаружи явь: вязкий, клубящийся туман, сворачиваясь всё гуще и гуще, полз над самой водой, вплотную

подступал к иллюминаторам. И вскоре сквозь эту вату, сквозь сомкнувшуюся вокруг катера тишину, сквозь обшивку, оттуда, с острова, до Золотарева добрался-таки сдавленный, будто спросонья, гул, от которого он впервые всерьез встревожился: «Чем чёрт не шутит, еще и впрямь взбесится!»

— Слышите? — Ярыгин тревожно напрягся, задеревенел. — Точно вам говорю, неспроста расфыркался, неспроста.

— Чего заранее в колокола бить, — в сердцах огрызнулся Золотарев, срывая на спутнике собственную досаду, — не горит ведь, понадобится — обуздаем.

— Эх, Илья Никанорыч, дорогой товарищ Золотарев! — неожиданно прорвало того. — Будто вы порядков наших не знаете, ведь случись чего, виноватого всё равно найдут, не посмотрят, что стихия. Опять со стрелочника начнут, опять с Ярыгина спросится...

«Помяла, видно, мужика жизнь, повыламывала! — заскребло у Золотарева на сердце. — Только с кого теперь спросится, еще неизвестно, то ли с него, а то ли и с тебя, Илья Никанорыч!»

Золотарев давным-давно усвоил, что для него, как для сапера, каждый шаг может стать последним, слишком много смертельных ловушек было расставлено в том поле, где он когда-то решил искать себе своего попутного ветра, причем зашел теперь туда так далеко, что оборачиваться уже не имело смысла. И однако же всякий раз, когда перед ним возникала очередная опасность, сердце его начинало опадать и томиться.

— Пронесет, — он бесшабашно успокаивал скорее себя, чем Ярыгина, — а не пронесет — ответим: не мы первые, не мы последние.

Сверху в каюту заглянул вахтенный матрос и, не скрывая озорной издевки, осклабился:

— Волна у берега, товарищ Ярыгин, — но глядел он при этом почему-то на Золотарева, — к пирсу не подойти, придется в лодочке покачаться, на ветерку...

И тут же скрылся, оставив дверь на палубу распахнутой. Мысленно чертыхаясь, Золотарев подался к выходу с умоляющей скороговоркой Ярыгина за плечом:

— Здесь, Илья Никанорыч, рядом, рукой подать, с непривычки, оно, конечно, покачает маленько...

На палубе можно было двигаться только наощупь: волглая муть плотно запеленала окружающее, спирая дыхание липким, с явной примесью серы воздухом. Казалось, что некая сила медленно протаскивает их сквозь огромное дымовое отверстие, в конце которого гудела им навстречу клокочущая лавой топка. «Вот сиротское счастье, — досадовал он, пока цепкие руки вахтенного помогали ему перебраться в ускользящую из-под ног лодку, — все тридцать три несчастья сразу!»

Почти не ощутимая в океане зыбь, приближаясь к бухте, дыбилась высокой волной, кружевной пеной вскипая у самого борта. Силуэты матросов на веслах еле проглядывались, голос рулевого звучал протяжно и гулко, как из колодца:

— Правые, гребь, левые, суши весла!.. Правые, гребь, левые, табань!.. Синьков, суши!..

Причалить удалось не сразу, лодка несколько раз проскакивала мимо пирса, едва не врезавшись в его смоляные сваи. После трех неудачных попыток лодка наконец-таки пришвартовалась, и тут же чья-то услужливая ладонь выплыла сверху на помощь высокому начальству:

— Товарищ Золотарев, хватайтесь крепче, не стесняйтесь, мы, курильчане, — народ выносливый!

Определив под собою твердый настил пирса, Золотарев облегченно было вздохнул, но почти одновременно он почувствовал под ногами короткое сотрясение: почва чутко отзывалась на глухой гул внутри

острова. «Час от часу не легче, — вяло пожимая протянутые к нему руки, он едва различал лица и голоса, — из огня да в полымя».

Последним перед ним, прямо у него из-под локтя, вынырнул взъерошенный горбун в полувоенной фуражке и, устремляясь к нему снизу вверх острым, в жесткой щетине подбородком, уперся в гостя колючими глазами:

— Давно ждем, товарищ Золотарев, накопилось много неотложных вопросов. Сами знаете: кадры решают всё, а с кадрами у нас неувязка получается. Рвач на острова бросился за длинным рублем, за веселой жизнью, как моль, — никакой пользы, только жвачный аппарат в ходу, а нам бы, товарищ Золотарев, фронтовиков побольше, горы бы своротили! — Горбун вцепился в него, продолжая и по дороге сердито пыхтеть рядом с ним. — Я двадцать лет на кадрах сижу, собаку, можно сказать, на этом деле съел, меня на мякине не проведешь, я про свой контингент знаю больше, чем он сам про себя...

Сама судьба посылала этого гнома на выручку Золотареву: теперь он мог навести справку о Матвее, не привлекая особого внимания со стороны. Золотарев толком не в состоянии был бы объяснить сейчас даже самому себе, зачем, почему, для какой надобности загорелось ему непременно увидеть своего давнего знакомца, но эта потребность была в нем настолько сильнее доводов логики или разума, что уже не было силы, способной остановить его в этом рискованном предприятии.

— Правильно ставите вопрос, разберемся сообща, как говорится, не отходя от кассы. — Он спешил не упустить плывущей к нему удачи. — Вместе подумаем, как исправить положение, товарищ... Как вас, извините?

— Пекарев моя фамилия... Михаил Фаддеевич. — Резкий голос горбуна даже пресекся от обиды, таким,

видно, несуразным показалось ему, что остались еще на земле люди, которые могут его не знать. — С двадцать пятого года в органах, бессменно на спецчасти.

— Да, да, мне докладывали, — мгновенно слукавил Золотарев, торопясь ублажить самолюбие кадровика, — рад познакомиться. Если дело горит, я готов хоть сейчас заняться вашим вопросом.

Тот снова вскинул к нему свой щетинистый подбородок и, уже толкая перед ним дверь с табличкой местного отдела Гражданского управления, догадливо проник в него зоркими глазами:

— Как прикажете, товарищ Золотарев, как прикажете, у меня в хозяйстве всегда полный ажур, любую справочку мигом выдам. Только у нас по обычаю полагается сначала приветить гостя, тем более — праздник. Придется вам отведать нашу хлеб-соль.

И, обогнув Золотарева, горбун двинулся в глубь широкого коридора, жестом приглашая его следовать за собой.

### 3

Начало в отдельном закутке итеэровской столовки было почти официальным: наливалось по маленькой, говорилось с умеренной торжественностью. Тосты выстраивались по чину, от старшего к младшему, чему соответствовало содержание речей, за которым строго следил председательствующий, колчерукий мужик лет сорока, в форменном, но без знаков различия френче, на котором пестрела вытертая до блеска орденская планка.

— Правильно, Красюк, осветил положение, в корень смотришь, в самую суть, доложил обстановку, как полагается, только насчет трудностей загнул, недооценка роли масс получилась. Мы этому Сарычеву, придет срок, рога обломаем, не такие горы сворачивали! —

Он начальственно тряхнул кудлатой, с жесткой проседью головой в противоположный конец стола. — Теперь ты, Головачев, твоя очередь, молодым везде у нас дорога, расскажи от имени комсомола товарищу из центра про наши трудовые успехи, с чувством, с толком, с расстановкой, ты у нас стишки пишешь, тебе и карты в руки, а потом споем... Слушай, парень, Пономарева, Пономарев плохому не научит...

Постепенно привычный ход официального застолья, оборачиваясь хмельной разноголосицей, превращался в обычную пьянку. И хотя Золотареву в его положении приходилось периодически участвовать в подобных оргиях на самых разных уровнях, безалаберное времяпрепровождение это было ему в тягость. Он инстинктивно боялся переступить черту, за которой незаметно исчезала грань между чинами, званиями, возрастом и где всегда таилась опасная возможность подвоха или ловушки. Вынужденный всякий раз поддерживать компанию, он все же ухитрялся оставаться там в ясном уме и твердой памяти: пил вместе со всеми, но понемногу и только вино, отговариваясь обычно давней привычкой к легким напиткам.

Осваиваясь сейчас среди карусельной бестолковщины хмельного застолья, Золотарев то и дело ловил на себе пристальный взгляд кадровика, который, сидя наискосок от него, исподтишка посматривал в его сторону, с явным намереньем продолжить начатый ими в дороге разговор. Можно было подумать, что тот доподлинно знает, зачем, за какой надобностью завернул он сюда, в эту курильскую тмутаракань, и какая мука источает его изнутри. «Быстрее бы уж они перепились, что ли, — томился Золотарев, уклоняясь от цепкой догадливости горбуна, — с ними никакого времени не хватит!»

Тот наливался, не отставая от остальных, но при этом почти не пьянел, и только резкое, под недельной щетиной лицо его все более бледнело и заострялось.

Когда дело дошло до песен, а память окончательно оставила сотрапезников, горбун, подавшись к нему через стол, деловито осведомился:

— Может, не будем мешать товарищам? — И поманив Золотарева за собой, сразу же стал пробираться к выходу. — Делу — время, потехе — час. — Осуждающе усмехнулся, пропуская его в коридор. — Не умеем мы отдыхать, не умеем, лишь бы напиться...

Только здесь, в тишине коридора, Золотарев вновь услышал за стеной и ощутил под ногами сдавленное kloкотание недр. Казалось, что хрупкая корка земли едва сдерживает медленно, но упрямо нарастающую мощь разбухенной лавы. В предчувствии самого худшего ему опять сделалось не по себе, и он, чтобы избыть в словах охватившую его тоскливую истому, поспешно заговорил:

— К сожалению, времени у меня в обрез, детально со всем познакомиться не успею, но в целом постараюсь разобраться. — Он вдохнул полную грудь воздуха и решительно бросился к цели. — Меня, кстати, интересует одно персональное дело. Москва предписала открыть православный приход на Курилах, священником рекомендуют вашего человека, он где-то у вас здесь, на Матуа, обитает, кажется, скотник по специальности.

— Уже запрашивали, товарищ Золотарев, уже запрашивали. — Тот не выразил ни удивления, ни подозрительности, словно ожидал его внезапного любопытства. — Знаю я этого Загладина, как облупленного, деклассированный элемент, тоже мне специальность — волам хвосты крутить! — Горбун толкнул дверь перед ним. — Вот мое хозяйство, моя епархия, так сказать, заходите, располагайтесь, тесновато, правда, да ведь в тесноте — не в обиде.

Миновав пустую прихожую со скамейками вдоль стен, они оказались в квадратной клетушке, отгороженной от остального помещения жиденькой, со сте-



клом поверху, фанерной перегородкой. Едва усевшись за письменный стол, горбун мгновенно вписался в рамку этого крохотного царства шкафов, полки, бумажной пыли, словно хваткий паучок в центре своей паутины.

— Одну минуточку. — Он прошелся чуткими пальцами по ряду скоросшивателей, ловко выдернул один из них, протянул гостю. — Прошу любить и жаловать, собственной персоной гражданин Загладин Матвей Иванович, год рождения девятьсот первый, место рождения деревня Кондрово Тульской области. — Кадровик пронизательно уставился в него колкими глазами. — Не землячок ли, товарищ Золотарев?

Призрак пропасти, у края которой Золотарев теперь стоял, явственно замаячил перед ним, но отступить было поздно, и он, безвольно расслабляясь, пустился наугад:

— Не совсем, но-вроде того... Фамилия будто знакомая, да и, видно, тип любопытный, даже в Москве знают...

Листая личное дело Матвея, Золотарев как бы обозревал собственную жизнь в сопоставлении с жизнью своего бывшего подчиненного. Выходило — чем круче и выше возносилась спираль его удачливой судьбы, тем отвеснее и безысходней делались зигзаги Матвея по наклонной нищенского прозябания: судимость за бродяжничество перед самой войной, голодная эвакуация в Казахстан и административная ссылка впоследствии. Ему не нужно было гадать, что это означало для простого смертного в стоявшее на дворе лихолетье: однажды в детстве и юности хлебнув сиротской бесхлебицы, он навсегда затвердил в себе зябкую память о ней. «Досталось тебе, Матвей Иваныч, — горько откликнулось в нем, — тут и двужильный надорвется!»

— Может, землячок все-таки? — Словно утверждаясь в своем предположении, кадровик нетерпеливо

заерзал на стуле. — Может, глядишь, даже знакомый, а то и родственник?

— Не совсем, но кое-что сходится, — вяло засопровтивлялся Золотарев, пытаясь ускользнуть от цепкой дотошности горбуна. — И далеко он у вас здесь обитает?

Тот мгновенно вскочил и зашпешил, заторопился, как бы опасаясь, что гость передумает, захочет остаться:

— Рукой подать, товарищ Золотарев! Здесь, внизу, у нас подсобное хозяйство заложено, там ваш Загладин и окопался, один целую землянку занимает, за час обернемся...

Золотарев еле успевал за кадровиком, с такой азартной стремительностью бросился тот к выходу. «Была не была, — махнул он на всё рукой, — пропадать, так с музыкой!»

Туман заметно редел. Сквозь его тающее молоко цельно проглядывались контуры построек, деревьев, пологого спуска сопки. Едкий запах серы в воздухе сделался еще ошутимей, подспудный гул то и дело прорывался трескучими раскатами, и первая пудра пепла уже высеивалась в туманной измороси.

Чем ниже они спускались, тем чаще из-под ног у них вышмыгивали стайки крыс. Их было здесь так много, что казалось, остров буквально кишит ими. В их тревожном передвижении чувствовалась какая-то, неподвластная обычному разумению целеустремленность. «Будто со всего света собрались, — передернуло Золотарева, — ишь, всполошились, чуют беду, что ли?»

Они долго спускались по спирали вниз, сквозь густые заросли ольшаника и мокрого высокотравья, пока не выбрались почти к самому океану, который шумно дышал где-то совсем рядом. Только тут горбун остановился, проговорив, но почему-то шепотом:

— Здесь вот, рядом обитает, грехи замаливает, а может, фальшивые деньги печатает или антисовет-

чину, чёрт его знает! В общем, не кадровый подарочек. Вот, видите, труба над землянкой, там и есть, а я покуда к здешним японцам схожу, беспокойный народ, всё переселения требуют, успокоить надо, скоро переселим, на кой они нам хрен, одна морока, не знаем, как отделаться. — И так же потихоньку хохотнул на прощанье, исчезая в тающем тумане. — Счастливого договориться!

Колотье в горле Золотарева сделалось нестерпимым: сейчас, вот-вот, через минуту, он должен будет увидеть еще одного свидетеля своей, памятной ему вины. Волглая трава расступалась перед ним, и он ступал по ней, словно по зыбкой воде. У входа в землянку он набрал полную грудь воздуха, постучал:

— Есть кто живой?

В землянке некоторое время царила полная тишина, потом кто-то завозился, зашуршал, после чего определился голос — низкий, с хрипотцой:

— Кого еще Бог принес?

— Свои, — Золотарев почувствовал, что вконец задыхается, — увидишь — признаешь.

— Своих много, — откликнулось изнутри, — да все чужие.

Но дверь всё же с тягучим скрипом открылась, и в проеме ее обозначился бородатый, в крупную рябину мужик, в котором нельзя было не признать Матвея Загладина, впрочем, и времени с той памятной им обоим поры прошло не так уж много.

— Признал? — К Золотареву стало возвращаться его обычное спокойствие, словно для этого ему и нужна была только вот эта встреча с Матвеем: лицом к лицу. — Вместе когда-то работали.

Тот безо всякого выражения оглядел его с головы до ног, сказал спокойно, с растяжкой:

— Никогда я с тобой, Илья Никанорыч, вместе не работал, потому как я работал, а твое дело было

известное, но все одно заходи, гостем будешь, хотя, по правде сказать, лучше бы тебе мимо пройти.

— Ладно, Матвей, — обижаться Золотареву было бессмысленно, не затем он сюда шел, заранее зная, на что идет, — дело есть. Потом видно будет, чем нам с тобой пошабашить.

Матвей молча отступил в полутьму землянки, и Золотарев перешагнул ее порог. Сначала в глаза ему бросилась одна лишь икона в верхнем левом углу с крохотной лампадкой под ней, желтый язычок которой и составлял здесь всё освещение. Но немного пообвыкнув после серого света дня, он стал различать обстановку и вещи, если можно было назвать вещами скудный набор временного быта: нары, покрытые случайным тряпьем, железная печка-временка, нечто вроде полки, где в ряд разместились — котелок, чайник, миска и кружка. Но в крайней непритязательности этого скудного жилища ощущалась хозяйская рука и личная аккуратность.

— Садись, — Матвей кивнул гостю в угол нар, сам опускаясь на них же, только ближе к двери, — больше негде. Растолкуй мне, неразумному, какое-такое может быть у тебя ко мне дело?

— Да вот сама Москва тебя разыскивает, приход предлагают открыть в Южно-Курильске.

Тот усмехнулся, удивленно покачал головой, ответил не сразу, выдержал гостя, вздохнул:

— Да нет уж, Илья Никанорыч, не по Сеньке шапка, пускай другого поищут, а я вам не потатчик.

— Смелый ты, Матвей, только к чему это, не таких ломали.

— Ломали да не всех. — Его голос вдруг отвердел. — Бригадира-то, вон, нашего так и не сумели, не по зубам он вам вышел.

Голос Золотарева перешел почти на хрип:

— Откуда тебе знать-то, такие дела не на базаре делаются.

— Только у вас, что ли, везде свои люди, ваша власть и держится-то тридцать годов, и сколько еще продержится — это еще бабушка надвое сказала, а наша вера две тыщи лет стоит, и сносу ей никогда не будет, помни, оттого-то мы и знаем завсегда больше вас, всё видим.

До Золотарева дошло, что собеседник давно догадался о том, что творилось сейчас у него на душе, и поэтому не затруднял себя излишними околичностями, бил наверняка. И, внутренне окончательно сдаваясь, он спросил еще глуше, еще удушливее:

— Расскажи.

— Изволь, Илья Никанорыч, изволь, — в упор глядя на гостя, заговорил тот, — мучали они его долго, с чувством, всё допытывались: какой-такой сговор он против власти замышлял, уж так им вызнать не терпелось — чего да с кем взрывать собирался, кого убивать, а кого отравлять иностранными газами. А он только, — в этом месте голос Матвея ослабел, надломился, — всё жалел их: зачем они эдакими глупостями занимаются. Те того пуще взбесились, будто звери дикие сделались, такая страсть началась, что и рассказывать страшно. Казнить вели, всё одно не держал на них сердца, только просил нас не трогать, потому как мы, по его, безо всякой вины. — Здесь он впервые опустил голову, уперся взглядом куда-то себе в ноги. — Одного греха себе не отпущу, что ушел тогда с брательником еще ночью: случаем услышал твой разговор с начальником из Узловой, духу остаться не достало.

Матвей умолк, и Золотарева охватила еще неведомая ему дотоле тоска, вернее, тягостное, со спазмами, жжение в сердце. Только сейчас, здесь, на краю света он с горечью осознал: то, что оставалось у него позади — райком, служба в органах, фронт, Кира, Сталин наконец, — было дорогой к этой вот нищей землянке, где его настиг призрак тяжкого груза давней молодости.

В эти считанные минуты в нем прочно и навсегда отныне укоренилось, что нет вин в жизни человека, за какие бы в конце концов не воздалась расплата. И в том, что она — эта расплата — должна была настичь в пределах, где завершалась его земля и начиналось чужое небо, таился для него какой-то особый, еще непостижимый ему смысл. «Твоя очередь, Илья Никанорыч, — подвел он черту, — на выход с вещами!»

— Ну, прости, что обеспокоил, Матвей, — молвил Золотарев, поднимаясь, — как говорится, пришел я выпить за здоровье, а пить пришлось за упокой.

— Бог простит, — снова безо всякого выражения ответил тот и отвернулся, будто отсекая себя и от него, и от всего того, что стояло за ним.

Его было соблазнила мысль рассказать на прощанье Матвею о своей встрече с Иваном на Байкале, помочь брательникам встретиться или, на худой конец, списаться, но сойдясь в упор с недвижимым взглядом хозяина, понял, что тот заранее отказывался далее слушать гостя. «Как знаешь, — выходя, замкнулся Золотарев, — вольному воля!»

Из оседавшего тумана навстречу Золотареву сразу же выявился кадровик, словно и не уходил никуда вовсе, а может быть, так оно было и на самом деле:

— Гляжу, побеседовали! — Понимающе подмигнув ему, горбун заторопился в обратный путь. — Говорил вам, что фрукт, хоть сейчас к стенке. Вот они — кадры мои, рвач на воре, контриком погоняет. Войдите в мое положение, товарищ Золотарев, не работа, а каторга. Фронтвики позарез нужны, с теми мы быстро наведем порядок...

Выпроставшись из утренней ваты, сопка гляделась теперь целиком. В черном шлейфе над ее плоско срезанной вершиной уже поплясывали алые язычки. Держался ровный, с редким подрагиванием гул. Винтовой подъем по узким террасам горы медленно уводил их всё дальше от береговой низины, пока снова не вывел

к коробке местного управления, где кадровик, поджидая отставшего Золотарева, остановился у двери с табличкой «Медчасть».

— Здесь остановитесь, — проговорил тот, встретив Золотарева и почему-то опять понимающе подмигнув ему. — Тут у нас комнатка для особых гостей оборудована, как говорится, со всеми удобствами.

В женщине, которая их встретила, не было, на первый взгляд, ничего особенного, так себе, лет тридцати с лишним полнеющая женщина в форменном белом халате, и лишь взглянув на нее повнимательнее, можно было безошибочно отметить в ней необычность повадки и взгляда, в которых явственно сквозила властная уверенность в себе, с примесью, однако, глубоко затаенной, но терпкой горечи.

— Проходите, я уже всё приготовила. — В ее манере говорить тоже сказывалась необычность характера: она вела себя с ним так, будто они были давно и близко знакомы. — Сразу будете отдыхать или сначала поужинаете?

— Нет, нет, — бежал он ее спокойно пристальных глаз, — спать, сразу спать, устал, как чёрт.

— Да, да, — вмешался было кадровик, заюлив, заерзав беспокойными глазами, — товарищу Золотареву необходимо хорошенько отдохнуть, завтра у нас предстоит большая работа.

Но та даже бровью не повела в сторону горбуна, будто его и не существовало вовсе, обратилась опять к Золотареву:

— Тогда проходите в свою комнату, там уже постелено. Если что понадобится, не стесняйтесь, зовите, я всегда тут.

С этим ее «если что понадобится» в смутном сердце Золотарев и двинулся к себе, к своему очередному походному пристанищу. Только оставшись один, наедине с собой, он по-настоящему почувствовал, какая вязкая тяжесть налила его за эти вроде бы недолгие

часы. Едва Золотарев лег, как сонная одурь навалилась на него, и поэтому полуодетую женщину, которая вскоре вошла и спокойно, словно к себе, легла рядом с ним, он уже принял за наваждение.

В этом наваждении, полусне-полуяви и прошла ночь, среди которой, вперемежку с судорожными истязаниями, будто сказка без конца, перед ним прошла чужая жизнь такой боли и напряжения, что, думалось, была не под силу одному человеку. И, пожалуй, впервые в жизни в него вошла сладкая отравка жалости: к ней, к себе, ко всем, кто ушел и еще придет, ко всему существу на этой скорбной земле. Растекаясь в этой жалости, он глухо забылся только к самому утру с единственным и новым для себя именем на губах:

— Поля...

#### 4

Золотарев проснулся от прерывистой канонады. Казалось, шла длительная артподготовка перед большим наступлением. Комнату трясло мелкой дрожью, запорошенные пеплом стекла тихонько позвякивали, пол под ногами сделался шатким и неустойчивым. «Началось! — наскоро одеваясь, утвердил он про себя. — Теперь только держись!»

В комнату, уже одетая, заглянула Полина и деловито, словно между ними ничего не произошло, сообщила:

— Пожары начались, Илья Никанорыч, надо бы эвакуировать женщин и детей, а наших начальников хоть ложками собирай, никак после вчерашнего не отойдут.

Первая неловкость за себя и за нее, какая было возникла в нем в самом начале, тут же сменилась холодной яростью. Он вдруг ощутил в себе тот восхищающий душу подъем, который всегда предвещал для



него риск, дело, власть. В подобные минуты для него не существовало препятствий и не было удержу:

— Перестреляю, как собак! — Его победно несло властолюбивое бешенство. — Будут отвечать по законам военного времени! — И уже выносясь наружу, кивнул ей. — Все остаются на своих местах.

Он ворвался в управление в самый разгар паники. Люди бессмысленно металась по коридору и кабинетам, галдели все разом, не слыша или не понимая друг друга: гвалт стоял, будто на вокзале во время бомбежки. Из радиорубки пробивался сквозь галдеж почти плачущий голос Ярыгина:

— Судна́ нужны позарез, — он так и произносил «судна́», — на чем людей вывозить будем?.. Войдите в наше положение, горит кругом... — Прерванный на полуфразе появлением Золотарева, он тут же ступался, заблудил заискивающими глазами в сторону начальства. — Тут вот товарищ Золотарев как раз, сейчас дам... — Уступая ему место у селектора, тот даже не скрывал благодарного облегчения: его дело, мол, теперь сторона. — Прошу вас, товарищ Золотарев...

Оказавшись в своей стихии, Золотарев окончательно перестал церемониться: сразу же отключил прием и перешел на беспрерывный вызов:

— Говорит Золотарев. Беру всю полноту ответственности на себя. Остров объявляю на военном положении. Начинаю эвакуацию женщин и детей. Все мужское население считаю мобилизованным. Приказываю: вся судовая наличность ближайшей группы островов должна в течение часа быть у меня на рейде. Выполняйте. — Он отключил связь и, повернувшись к сидевшему сбоку от него однорукому, приказал: — Выставить охрану у складских помещений и магазинов, в случае грабежа стрелять без предупреждения. За тушение пожаров отвечаешь лично. Понятно? — И, не чувствуя в угрюмо похмельном лице управленца

должного отклика, схватил того за ворот гимнастерки, поднял, притянул к себе вплотную. — Слушай ты, мыслитель, я из тебя эту дурь окопную быстро вышибу, тебя еще, видно, жареный петух в задницу не клевал, так я устрою: каждый клевок девять грамм, понял?

Тот, судя по всему, мгновенно протрезвел и, боязливо отодравшись от Золотарева, вытянулся по стойке смирно:

— Выполню любое задание партии и правительства, товарищ начальник. — Его запойная хрипотца приобрела торжественную тональность. — В огонь и в воду, товарищ Золотарев!

— То-то, — остывая, бросил ему Золотарев и выдвинулся в коридор. — Слушай мою команду. Все женщины и дети в течение часа должны быть в безопасной зоне у воды. Назначаю ответственным за эвакуацию начальника политотдела Гражданского управления Ярыгина. — Перехватив затравленный взгляд политотдельца, он еще раз, чуть ли не со сладострастием, подчеркнул: — Товарища Ярыгина. Всё, выполняйте приказ...

Через минуту управление опустело: заработал безотказный механизм запущенной им машины, работающей на инерции страха. Ему теперь оставалось только время от времени корректировать ее ход, чтобы она не уклонялась в сторону и не сбавляла темпа. Науку управлять такими процессами он давно выучил на зубок.

В стремительно убывающей суматохе коридора перед ним вдруг определился кадровик:

— Вы отвечаете за жизнь всего контингента, — доверительно подступился тот к нему, — а я отвечаю за вашу жизнь, товарищ Золотарев. Вам необходима надежная страховка. Вот, — горбун вытолкнул впереди себя лобастого парня в военной телогрейке и кепке, заломленной на самый затылок. — Катерок у него

небольшой, но крепкий. Даже, — тут кадровик на-смешливо ослабился, — с командой. Будет стоять специально для вас, на всякий случай. — И торопливо отметая любые возражения, быстро закончил. — В последнюю минуту может понадобится.

Кого-то этот парень удивительно напоминал Золотареву: наваждение было так объемно, так явственно, что он не выдержал, спросил:

— Ты откуда сам-то?

— Землячок, товарищ Золотарев, — поспешил ответить за того кадровик, — опять землячок! Мало тульский, еще и сычевский, Самохин Федор Тихонович, собственной персоной. Прямо скажу, кадр перво-статейный: фронтовик, специалист, работник, с такими до коммунизма — рукой подать. Глядишь, даже помните?

Еще бы Золотареву не помнить Самохиных! Не водилось на деревне мужика злее и привязчивее дядьки Тихона, случая, бывало, не пропускал, чтобы не подковырнуть, не подразнить отца. Немало слез по Тихоновой милости выплакала золотаревская мать. Младшего из Самохиных, правда, он помнил смутно, сказывалась разница в возрасте, но, даже если бы и помнил, восторга от этой памяти не испытал бы: слишком болезненным оставалось для него всё, связанное с Сычевкой.

— Да, да, помню, — сухо отрезал он, заранее предупреждая любые попытки панибратства со стороны непрошенного земляка. — Ты лучше скажи мне, как ты его, катерок свой, на месте удержишь, волна, видел, какая?

Парень заметно угадал его состояние, но оказался умен — не обиделся:

— Поставлю носом против волны, запущу на всю катушку, якорек сброшу, устоим как-нибудь, товарищ начальник.

Сдержанная деликатность Федора понравилась Золотареву, но он предпочел всё же держать дистанцию — так оно было надежнее:

— Ладно, отправляйся к себе на борт, держи вахту, только учти, я уйду последним. — Но на прощанье смягчился, бросил вдогонку. — Держи сычевскую марку!

Кадровик прямо-таки засветился Федору вслед, будто собственное произведение издалека рассматривал:

— Хорош парень, ничего не скажешь! — И, снова увязываясь за выходящим Золотаревым, деловито утвердил: — Я с вами.

— Утрясите лучше возможные недоразумения с японцами. — Золотарев был рад отвязаться от настырного горбуна. — Хотят они эвакуироваться или нет?

— Пусть сами выкручиваются, своих вывезти бы, — отмахнулся было тот, но, перехватив нетерпеливый взгляд Золотарева, послушаться не посмел. — Как знаете, товарищ Золотарев, как знаете, только к чему бы вам это? — Поворачиваясь, чтобы идти, он въедливо прищурился. — Может, уже и там землячки отыскались?

В самой походке уходившего горбуна угадывалась угроза и предупреждение, но Золотареву уже было не до него. Стоя сейчас на площадке перед управлением, он зорко обзревал панораму происходящего: дымное пламя поверх ревушей сопки, каменная шрапнель над поселковыми крышами, людские ручейки, стекающие по дорогам и тропам к берегу вокруг пирса. Но в кажущемся вокруг хаосе уже заметно проглядывался определенный порядок, механизм власти срабатывал медленно, но неуклонно: пожары становились кратковременней, разноголосица умеренней, людское передвижение строже. «Только попусти, — удовлетворенно

успокаивался он, — сами не заметят, как передуют друг друга».

Полина появилась рядом с ним неожиданно, с медицинской сумкой через плечо, застегнутая на все пуговицы демисезонного пальто, из-под которого торчал белый воротничок ее халата.

— Иду вот, зовут, там у одной, — Полина кивнула вниз, по направлению к берегу, — схватки начались. Вот уж не ко времени! — В ожидании ответа она искаса взглянула на него, но он отвел глаза. — Вам бы тоже пора туда, всего не устроишь.

— До погрузки нельзя, Полина, на ваших здешних вахлаков, сама знаешь, надежды мало, самому надо до конца проследить. — Он легонько и ласково подтолкнул ее под локоть к дороге. — Иди, там тебя ждут, скоро увидимся.

С неожиданной для себя благодарной нежностью проследил Золотарев, как та послушно тронулась с места и, неуверенно спускаясь к дороге, то и дело оборачивалась к нему, будто ждала, что он еще передумает, задержит, но, так и не получив ответа, более не оборачивалась. И долго еще белый воротничок ее халата, торчавший из-под пальто, мельтешил впереди, пока она совсем не скрылась за срезом спуска.

Едва она исчезла внизу, Золотарева неожиданно обжигающе озадачила простая, как дыхание, мысль: что, какая сила рождает людей столь разными, сводит и разводит их, незримо руководит ими в делах и поступках, откладывая в них любовь и ненависть, страх и мужество, жестокость и милосердие? Во всем этом открывались для него какие-то особые закономерность, логика, смысл. На его глазах, в хаотичном кружении, казалось бы, неуправляемых природных стихий, сеть человеческих связей, искажаясь внешне, не теряла своей внутренней, почти геометрической стройности. В чем же здесь все-таки таилась суть?

Мысль была так по-детски очевидна, что на какое-то время Золотарев провально забылся, и всё происходящее перестало для него существовать. Вновь и вновь кружа догадкой по спирали тех же вопросов, он мучительно старался пробиться к ее вершине, откуда открывалось главное, но высота, призрачно подразнив открытием, ускользала, и его опять отбрасывало к ее подножью.

Золотарев очнулся, когда на рейде замаячили корабельные силуэты, а внизу началась первая погрузка. Лишь после этого он в последний раз завернул в управление, вошел в радиорубку и включил селектор:

— Говорит Золотарев. Прекращаю прием! Прекращаю прием! Ухожу последним! Последним, говорю!

Золотарев резко отключил связь и подался к выходу. Сопка бесновалась, осыпая окрестности теплой мукой серого пепла. Хвост огня и дыма над ней высоко подпирал небосвод, время от времени с грохотом разражаясь накаленным добела каменным дождем. Воздух от запаха серы становился совсем непродыхаемым. Безлюдное запустение царило вокруг. «Слава Богу, кажется, все ушли, — вздохнул он, направляясь к берегу, — гора с плеч!»

Но едва он одолел первое кольцо спуска, как чуть не сбил с ног пожилого японца, деловито спешившего наверх. При виде Золотарева старик сделал большие глаза и заспешил, затараторил, указывая ему рукой в сторону сопки:

— Ходи гора нада... Худо, худо идет... Большой вода идет... Гора нада...

— Куда тебя несет, старый чёрт! — Золотарева трясло от остервенения. — Мозги что ли раскисли, не видишь, что творится?

— Гора ходи нада, — упрямо твердил тот, огибая его по дороге наверх. — Большая вода идет...

У Золотарева уже не оставалось ни сил, ни охоты гнаться за обалдевшим, видно, от страха стариком, его вдруг охватило глубочайшее безразличие ко всему, что творилось сейчас вокруг. Ярость, руководившая им в эти последние часы, улетучилась, оставив его наедине с самим собой и своей опустошенностью. Для него это был конец. Конец всему: настоящему и будущему, желаниям и надеждам, а, может быть, и самой жизни. Он знал наперед, что ему теперь не простят ничего: ни Киры, ни связи с Матвеем, но главное — этого вот землетрясения. Тот, кто его возвысил, не умел прощать.

Тарахтевший среди прибрежной зоны катерок зовуще маячил перед ним, но он, ватными ногами спускаясь вниз, едва замечал поджидавшее его суденышко, а глядел куда-то дальше, за горизонт, туда, где небо сливалось с океаном и свет начинался вновь. Лишь подступив к самой воде, он услышал, как Федор с катера умоляюще торопит его:

— Товарищ Золотарев, Илья Никанорыч, быстрее! Сносит нас, ненароком останетесь!.. Ловите конец!..

Золотарев уже вошел было в тревожную воду, но зов Федора только еще раз напомнил ему, что даже деревня, от которой он панически бежал всю жизнь, и та, в облике одного из Самохиных, нагнала его здесь, в этой клокочущей огнем и пеной тмутаракани, чтобы вновь вернуть его в проклятое им первородство. Этого, после всего пережитого за последние два дня, оказалось для него слишком много, этого он выдержать не мог.

И Золотарев повернул назад, в последней попытке уйти от своего прошлого, хотя бы ценой собственной гибели. Но ему так и не довелось ступить на сухой берег: земля под ним качнулась и пошла под уклон, огромный водяной вал накрыл его сзади, подхватил и, перекрутив в центробежном водовороте, вынес на

текущую поверхность. И он, не сопротивляясь более, отдался этому упрямому потоку.

Когда первая одурь после головокружительной водяной купели прошла, а глаза пробились сквозь соленую пелену, душа в нем в последний раз и уже гибельно обомлела: невдалеке от него плыла крыша дома с чудом уцелевшей на ней печной трубой, обняв которую сидел горбун-кадровик, и небритое лицо его при этом расплывалось в блаженной улыбке.

Это и было последнее, что Золотарев увидел при жизни.

## 5

*«Здравствуй, брат мой Иван, получил твое письмо в целости и сохранности, из рук в руки, прочитал со смирением, пишу ответ. Доехал я, твоими молитвами, благополучно, отыскал сухую землянку, оборудовал по возможности, живу, сам себе хозяин, скотину стерегу, Господа не забываю. По нынешним временам, брат, при скотине легче, чем с людьми, народ тут кругом голь перекатная, горластый, бедой, будто молью, порченый, слова сказать некому, в глухоте своей голодной увязли, как в тине. Главный начальник, что тебе сатана колчерукий, с утра лыка не вяжет, один мат-перемат из него валится, пристяжной его того пуще, хоть и трезвый, носится по горе, горбом трясет, всё вынюхивает, высматривает, на заметку берет, чистый бес, прости меня, Господи. По хозяевам и работники, тащут, что ни попадя, пьют да дерутся, совсем народ с панталыку сбился, а ты говоришь, просыпаются. Где ж им проснуться, когда гонят их табуном неизвестно куда, опаматоваться не дают, не до Бога им теперь, одна дурь чумовая в голове играет, в бездны огненные манит. Тут святым Словом не справишься, кнут нужен,*



по Христову завету — гнать из Храма Божьего сквальжнюю братию, иначе совсем озвереют. Правда, грех отчаиваться, встретил я тут семейство одно, на пароходе вместе ехали, земляки наши с тобой, тульские, вроде не совсем пропащее, ежели не скупясь окармливать, выйдет толк, потянутся к благодати, придут в себя. Тешусь надеждой, что мало-помалу, по травинке, по веточке соберу свою паству, воспоем хвалу Господу нашему, Вседержителю. Земля тут, не дай Бог, текучая, чуть что, ходуном ходит, гора наверху день и ночь дымит, бывает даже с огнем, сегодня вот совсем рассупонилась, пошла во все стороны без удержу, гуд стоит несусветный, а на дворе серой несет, как в преисподней перед светопреставлением. Был у меня нынче помянутый тобою Илья, приход предлагал, об Иване выпытывал, прости, брат, не взял я к себе на душу твоего совета, выложил душегубцу всю подноготную, пускай казнится, Ивану пуще было. Насчет него, твоя правда, брат, клеймо на нем, печать каинова, не жилец он, не заживет долго, нутром истлеет. От прихода я отказался, хоть из самой Москвы бумага была дадена, видно, востер глаз патриарший, везде в соблазн вводит, только не по мне сия милость, потому как и митра их — прелесть дьявольская, а патриарший клобук одна фальшь. С Божьей помощью воскресим Тело истинной Церкви Христовой, восстанет Матерь из праха в прежней красе и силе. Остаюсь твой старший брат Матвей, сын Загладин, Христос с тобой».

1

*Над тьмой и светом, над сном и явью, над всей земной обреченностью два голоса продолжают всё тот же разговор.*

— *Пошли меня снова к ним.*

— *Хватит ли у тебя силы, чтобы вновь перенести это?*

— *Ты поможешь мне.*

— *В прошлый раз ты ослаб духом и взмолился.*

— *Один лишь миг.*

— *Ты просил облегчения?*

— *Нет — любви: я готов был их возненавидеть...*

2

Федору снилось, будто лежит он в траншее, обложенный с четырех сторон орудийным грохотом, не видя, не слыша ничего вокруг себя, в животном порыве втиснуться в землю и, по возможности, слиться с нею. Сначала всё над ним состояло из пересекаемого взрывами слитного гула, и сам он, казалось, был частью этого гула, но затем, сквозь беспмятную его глухоту, к нему пробился голос отца:

— *Федя, Федёк, вставать надо, вызывают тебя, смотри, что на дворе делается, конец света!*

Накануне, провожая праздники, Федор порядком набрался в компании местных портовиков, вернулся домой почти без памяти, а поэтому сейчас, сквозь похмельную радугу в голове, он с мучительным напряжением силился уяснить для себя смысл происходящего.

Барак трясло и раскачивало, как спичечный коробок на барабане веялки. За серым от пепла окном багровые сполохи чередовались с дробным треском протяжных разрывов. Предметы и вещи в комнате сделались как бы одушевленными, содрогаясь и двигаясь, каждая по собственному произволу. Топот и гвалт в коридоре, нарастая, растекались за пределы барака, где вскоре тонули в общей сумятице.

До Федора, наконец, дошло, что случилось худшее из того, к чему с первого дня приезда он, помимо воли, готовился. Остров и раньше от случая к случаю потряхивало, дымный шлейф над Сарычевым вился, не иссякая, но к этому со временем привыкли, как привыкают ко всякой стихийной неизбежности, обреченно полагая, что нет худа без добра, что от судьбы не скроешься и что рано или поздно страсть эта должна кончиться; даже когда перед самым праздником дым над сопкой сделался черным, а внутри нее принялась клокотать лава, люди по той же привычке отмахивались: обойдется! Теперь же почва окончательно стронулась с места, безвольно расползаясь в разные стороны. Всё живое инстинктивно потянулось к берегу, к спасительной сейчас воде океана.

Мать беспомощно металась по комнате, без разбору связывая в узлы разрозненные пожитки:

— Страсти-то какие! — то и дело спохватывалась она, крестясь. — Сохрани нас и помилуй, Мать наша, Заступница Небесная!.. И за что же это нам такое наказание!.. Я скоро, Тиша, я скоро... Сейчас... Мигом... Господи Иусе, не оставь нас грешных!

Уже в полной памяти — сказывалась фронтовая привычка мгновенно приходить в себя в минуты опасности — Федор наскоро оделся и под причитания матери подался было к выходу, но у самой двери путь ему заступил возникший вдруг на пороге кадровик:

— Прохлаждаешься, Самохин, особого приглашения ждешь! — Тот ядовито посверливал его стоячими

глазками. — Остров объявлен на военном положении, так что шутки плохи, Самохин, являясь обязан по первому приказанию, в случае неподчинения — под трибунал, ясно? — Горбун пожевал мятыми губами, сбавил тон. — Короче, дуй, заводи свой броненосец, оказываем тебе доверие, прикрепляем к ответственному товарищу из Москвы, гляди в оба, если что, с нас за него голову снимут, задание — вывезти его с острова в целости и сохранности, о готовности немедленно доложить, ясно? — Затем, проследив за метаниями хозяйки, брезгливо поморщился. — Раньше смерти не помрешь, Самохина, не суетись, у нас транспорт без расписания ходит, успеешь.

Гость круто развернулся на каблуках и канул в крикливой суматохе коридора.

— Вот заноза, — в сердцах сплюнул ему вдогонку Тихон, — в кажинной бочке затычка, везде поспеваает, посередь светопреставления порядок навести норовит, чёрт окаянный! — И тут же с жалобной злостью отнесся к сыну. — Беги, Федёк, а то ведь гнус этот и впрямь под суд подведет, мы тут с матерью сами управимся...

Но когда в гомонящем потоке Федора вынесло наружу, ему навстречу из-под спуска, над головами бегущих, выплеснулся голос:

— Беда, Федёк, — к нему наперерез спешил Овсянников, беспорядочно размахивая на ходу непослушными руками, — схватки, вроде, у девки, извелась в корчах, куда с ей податься, ума не приложу. — Приближаясь, он с надеждой ёрзал по Федору виноватыми глазами. — Может, пособишь, Федёк?

С той памятной для него ночи под Иркутском Федор накрепко привязался к Любе, мысленно уже скрепив ее судьбу со своею. Всю последующую дорогу он дотошно следил за тем, чтобы она вовремя спала, досыта ела и, упаси Боже, не обременяла себя тяжестями. Соседи по теплушке втихомолку посмеивались

над ним, родители его хмуро косились, полагая, видно, что баловень их достоин лучшей доли, чем покрывать чужой грех, но высказаться вслух ни у кого из них не хватало духу: опасливо догадывались, что тот мягок-мягок, а в случае обиды спуску не даст. И лишь покойная бабка, знаками зазывая его в свой угол, не раз шепелявила ему на ухо беззубым ртом: «Держись, Федя, Любви, за такой супружницей, как за каменной стеной, клад девка, а где свои, там и чужой прокормится». Федор же давно свыкся с мыслью, что у него будет ребенок, заранее считал младенца родным, не изводясь догадками о возможном отце и нисколько не ревнуя к прошлому будущей матери. Для Федора всё, связанное с Любой, являлось неотъемлемой частью ее самой, а следовательно, его собственной частью. Поспевая сейчас за Овсянниковым, он чувствовал, как в нем, перехватывая ему горло, взбухает обжигающий страх: лишь бы обошлось, лишь бы ничего не случилось!

Люба, полулежа на неразобранной кровати, среди узлов и клади, встретила Федора вымученной полуулыбкой:

— Вот, Федор Тихоныч, всё у меня не ко времени, — воспаленное лицо ее затекало испариной, — такая уж я нескладная.

— Сейчас, Люба, сейчас, — лихорадочно топтался у порога Федор в поисках выхода из положения, — ты, главное, лежи, сообразим что-нибудь, обойдется. — Три пары глаз следили за ним с нарастающей в них надеждой. — Вот что, дядя Коля, — решил он, наконец, — на берегу ей никак нельзя, сам видел, что делается, затопчут. Лучше всего ко мне на катер, меня к московскому начальству прикрепили, пока суд да дело, отлежаться время есть. — Он повернулся к хозяйке. — Тетя Кланя, надо бы в санчасть обернуться, позвать Полину Васильевну, пускай прямо в затон

спускается, мы ее там ждать будем. — И подставил руки хозяину. — Берись, дядя Коль...

Вдвоем подняв Любу на сомкнутых крест-накрест руках, они вынесли ее из помещения и с тревожной оглядкой двинулись вниз, чутко нащупывая тропу под ногами.

Канонада над островом слилась в сплошную, без перебоев пальбу. Вершина сопки, будто раскаленное докрасна орудийное жерло, то и дело выплевывала вовне фейерверк огненной шрапнели, которая, падая, скатывалась по склонам, наподобие багрового цвета мячиков. Во многих местах вдоль подножья возникало языкастое пламя: полыхали заросли ольхового стланика. Вдобавок ко всему, сквозь пепельную порошу вокруг вскоре просеялся дождь, в зигзагах молний по всему побережью, хотя грозы за грохотом извержения слышно не было. «Без Полины, видать, не обойтись, — с каждым шагом утверждался Федор, искоса поглядывая в сторону Любы: лицо ее все более заострялось, испарина становилась обильнее и крупнее, — на пределе деваха!»

Судорожно цепляясь за них, она беспамятно откидывалась им на плечи, бормотала в полузабытье:

— Господи, да что же это!.. Неужто всегда так вот?.. Моченьки моей больше нету... Господи!

Скользкая от мокрого пепла тропа, словно намыленная, вырывалась из-под ног, липкий дождь застилал глаза, смешивая даль впереди в сплошную завесу, дыхание спирало серным удушьем, так что они порядком вымотались, прежде чем перед ними обозначился одинокий катер Федора в тихой воде заводского затона.

— Сейчас ляжешь, Люба, легче будет. — Ощувив под ногами твердую основу пирса, Федор облегченно расслабился. — Ладно, дядя Коль, тут мне одному сподручнее. — Он опасливо подхватил ее на руки и, преодолев кушый трап, ступил с нею на палубу.

— Потерпи, Люба, потерпи, мать за доктором побежала, скоро уж должна быть...

— Я потерплю, Федя, я потерплю, — еле расклеивая воспаленные губы, складывала она, — я терпеливая...

Терзаясь жалостью к ней и обморочным страхом за ее жизнь, он сложил ее на лавочке в каюте:

— Поспать бы тебе, Люба, — он вытащил из за́паски спальный мешок, подоткнул ей под голову, затем сдернул с вешалки старенький полушубок, — дай-ка я укурю тебя маленько... Вот так. Вздремни, Люба, вздремни, легче станет, поспать тебе сейчас — хорошее дело, а там доктор поспеет, лекарством каким попользует.

Люба покорно прикрыла глаза, смутное, без кровинки, лицо ее просветленно расслабилось:

— Вроде и взаправду легче стало, Федя, — скорее дышала, чем говорила она, — может, еще обойдется.

В алых отсветах и стрельбе снаружи улавливалось поступательное нарастание. Пар от накрывшего лаву дождя, стелясь вверх по склонам, смыкался вокруг вершины в одну клубящуюся шапку. Остров, словно застигнутое штормом судно, трясло и раскачивало посреди клокочущего океана. «Когда это, Господи, кончится, — глядя в иллюминатор, с тоской думал Федор, — и кончится ли?».

Сверху в темном коконе зимнего платка выявилось вопрошающе вытянутое лицо Клавдии:

— Слава Богу, застала, бежит сейчас, — цепляясь за что попало, она неуклюже спускалась вниз по лестнице, — соберется только. — В изнеможении привалившись к стенке в ногах у дочери, женщина спешила отдышаться. — Земля кругом ходуном ходит, народ совсем с панталыку сбился, несутся с горы, как оглашенные, крик стоит, будто Содом рушится. — Отдышавшись, потянулась к дочери. — Слава Богу, заснула вроде!

— Согрелась, видно, — к Федору возвращалась его обычная уравновешенность, — пускай теперь спит, ей на пользу. — И окончательно успокаиваясь, стал подниматься наверх. — Время есть, пока еще начальство заварушку эту расхлебает, два раза выпшишься!

На палубе в ожидании новостей снизу топтался Овсянников, угрюмо дымя «козьей ножкой».

— Ну? — подался он к Федору. — Чего там? — И еще раз, с крепнувшей уверенностью. — Пронесло?

— Видать, пронесло, — поспешил облегчить его Федор. — Докторша придет, посмотрит. — Он отпер рубку, с обстоятельной зоркостью отметил на щитке приборов меру воды, масла, горючего, привычным движением включил двигатель, перевел его на холостой ход: машина прокручивалась без сучка и задоринки, пела ровным и чистым тоном. — Не подвели ремонтники, стучит, как новенькая! — Он деловито обернулся к Овсянникову. — Побегу, доложусь, дядя Коль, начальство порядок любит. — Деревянный пирс мягко запружинил под ним. — Я бегом: одна нога там, другая — здесь.

Мокрый, светло-коричневого оттенка пепел глянцевицей окалиной покрывал траву, листья деревьев, крыши строений. Дождь пригасил пожары, но они продолжали дымиться, сгущая и без того удушливый воздух. С каждым шагом подъем становился все круче и неподатливее, подошва тщетно искала опоры, тропа ужом выскользывала из-под ступни.

Где-то на полпути Федор увидел, как слева от него, почти над самым затоном, сопка вдруг зигзагообразно треснула и стала медленно расползаться, выбрасывая на поверхность фонтаны пара и раскаленных камней. Затем оттуда змеящимся потоком вырвалась лава, устремившись по желобу прибрежной ложины к холодному морю, которое при соприкосновении с ней мгновенно вскипело и затуманилось. «Быстрее выходить на рейд надо, — отворачиваясь, поежился Федор,



— а тут и свариться ничего не стоит, потом хоть к пиву подавай!»

В отделе Гражданского управления фанерный закуток кадровика выглядел тихой заводью среди водоворота всеобщей сутолоки и шума.

— Явился! — деловито утвердил Пекарев, мельком окинув гостя с головы до ног. — Погоди чуток. — Горбун кружил в лабиринте связанных в большие пачки скоросшивателей, проверяя на глаз и на ошупь, сохранность сургучных печатей, скреплявших крестовины узлов. — Здесь, брат, глаз да глаз нужен, без личного дела человек — ноль без палочки, будто и нет его вовсе. Опять же, личное дело в руках врага — боевое оружие против нашего государства. — Горб его плыл над бумагами, словно плавник стерегущей добычу акулы. — Кажется, полный порядок. — Он разогнулся, повелительно кивнул в шумную бестолочь коридора: — Выноси, Тетерятников, готово. — И, минуя Федора, прошел вперед. — За мной, Самохин, начальству показаться следует.

Они перехватили Золотарева уже на выходе, где кадровик, преградив тому путь, вытолкнул Федора впереди себя, после чего между ними произошел беглый, на ходу, разговор, из которого выходило, что начальством принято решение уходить в последнюю очередь и что выделенный для этой цели маломестный катер ему вполне подходит, хотя сообщение о его с Самохиным землячестве не вызвало в нем особого воодушевления.

«Гусь свинье не товарищ, — самолюбиво заключил про себя Федор, — однако мы и не напрашиваемся, сами с усами».

— Ни пуха, ни пера, Самохин, — попрощался с ним горбун, — разводи пары, выполняй задание. До скорого. — Цепко вперился в него и вдруг подмигнул с заговорщицкой ухмылкой. — Живы будем — не по-рем, Самохин, а?

И канул в затихающей полутьме коридора, словно выключил себя из взаимосвязей с окружающим.

Возвращение Федора было похоже на зимний спуск с винтовой горки, он съезжал вниз, едва успевая тормозить на поворотах. Инерция наклонного падения волокна его по кочкам осклизлой тропы, сквозь пепельную завесу разбухающего хаоса к блиставшему у подножия сопки зеркалу затона. Когда наконец ноги Федора уперлись в твердый настил пирса, на нем не оставалось живого места: с ног до головы он был в липкой, ржавой окраски жиже.

Едва шагнув на трап, Федор лицом к лицу столкнулся с Полиной, выступившей ему навстречу из лестничного провала каюты:

— Хорош, нечего сказать! — Полину не оставляла ее обычная добродушная насмешливость. — Спешись, боишься зазнобу украдут? — Она обогнула его и сошла на пирс. — Успокойся, ничего с ней не делается, спит сном праведницы, в таком-то бедламе, кому сказать только! — Но снисходя, видно, к его тревоге, поспешила успокоить. — Я ей снотворного дала, укол сделала, день-два продержится, а там посмотрим, не вечно же этой прорве греметь. Беспокоить запрещаю, начальству скажешь: я приказала, авось не облияет от одного пассажира. Родителей я уже отослала, пусть эвакуируются вместе со всеми. — Всё в ней вдруг отрешенно погасло; стоя вполоборота к нему, она слепо смотрела в пространство перед собой. — Прощай, Федя, всякое может случиться, жив будешь, не забывай Полину старую, у нее и для тебя сердца достало...

«Спасибо тебе, Поля, — мысленно понапутствовал женщину Федор, прослеживая взглядом ее удалявшийся вдоль берега силуэт, — не забуду, таких, вроде тебя, не забывают!»

Движения его сразу сделались механически расчетливыми: он ступил на палубу, сбросил трап, вошел в рубку, перевел двигатель в рабочее состояние, и

обогнув крутую излучину затона, направил катер в открытый океан.

Первая же волна подхватила судно и принялась мерно швырять его вверх-вниз на своих текучих качелях. Грозовые тучи неслись так низко над водой, что на штормовых взлетах их, казалось, можно было коснуться рукой. Остров позади парил и дымился, свирепо испуская из себя нутряной избыток. Вдали на рейде маячила цепь спасательной флотилии, к которой со всех сторон устремлялись утлые скорлупки катеров и шлюпок. «Удержаться-то я удержусь, — на глазок определил Федор, выравнивая судно прямо против волны и ветра, — только как мне его на борт поднять, не миновать, верно, землячку моему выкупаться!»

Всё последующее запечатлелось в памяти Федора цветной каруселью отрывочных кадров: появление на берегу Золотарева, его странное молчание, его неожиданный уход, собственный голос ему вдогонку и, наконец, отступившая от берега вода, которая, увлекши сначала судно вместе с собою в океанский простор, затем с размаху накрыла явь вокруг феерически светящейся бездной.

За несколько мгновений перед тем Федор ринулся к рубку, чтобы выправить курс, и это спасло его от неминуемой гибели.

### 3

Когда Федор очнулся, катер несло между водой и небом в кипящую пропасть океанской ночи. Ледяной дождь барабанил по стеклам, вихревыми порывами заворачивал в рубку, стекая по полу в такт качке, с кормы на нос и обратно. Катер поскрипывал в штормовых клещах, словно оболочка треснувшего ореха, штурвал безвольно крутился то в одну, то в другую сторону, включенный на полную мощность двигатель

не подавал признаков жизни. За бортом было гулко, темно, ветренно.

Первое, что пришло ему в голову прежде, чем он осознал случившееся, была мысль о Любе: что с ней, как она, жива ли? Превозмогая болезненный озноб и слабость, он с трудом заклинил штурвал и ползком потянулся вон из рубки. После мучительного сопротивления с беспорядочной качкой Федор достиг дверцы каюты и, сжавшись в комок, крайним усилием воли, чуть ли не кубарем скатился вниз, в хлюпающую темноту салона.

Воды здесь уже набралось по щиколотку, она кружила и плескалась в четырех стенах каюты, словно в подвешенной к маятнику консервной банке. Хватаясь за углы и выступы, Федор дотянулся до пассажирской лавочки и, с облегчающим колотьем в сердце, ощутил рядом с собою теплое дыхание спутницы: обошлось!

Каким чудом ее до сих пор качкой не сбросило с места — было непостижимо, но у него теперь не оставалось более ни времени, ни желания задумываться над этим: сил, какие в нем еще теплились, ему хватило лишь на то, чтобы рухнуть на скамейку напротив и тут же забыться в бредовой дреме...

И грезился Федору сенокос за сычевской околицей в пряных запахах жаркого лета. Вдвоем с отцом они лежат на недосметанном стожке, глядя в белесую от зноя высь. Отец косит на него озорным глазом, поддразнивает:

— Говорят, Федёк, у тебя досе девки нету, негоже, брат, я в твои-то лета в больших спецах ходил по энтой части. Шевелись, сынок, нынче народ тертый пошел, не успеешь зевнуть, всех расхватают, неровен час, бобылем век свекуешь, не зевай, Федя, за такого малого любая подет...

Потом белесое небо обернулось белой порошей на оконном стекле, перед которым, близоруко щурясь, склоняется над вязаньем его — Федора — мать:

— Чего было, Федя, вспомнить страшно, одними молитвами я тогда тебя выходила, ничегошеньки в избе не оставалось, ни листа, ни зернышка, одна пыль по углам гуляла, считай, полдеревни в те поры перемерло, спасибо Ляксею Самсонову, отца нашего на путях пристроил, там макуху выдавали, на макухе и выжили...

И сразу вслед за этим, с осязаемой отчетливостью — их прощание с Мозговым во Владивостоке, в портовом буфете. Тот доверительно тянется к нему через стол, хищно поблескивает металлической челюстью:

— Слушай сюда, солдат, мое слово — закон: сказал — сделал. Отправляю тебя первым парходом, хватай свое счастье, солдат, мертвой хваткой за самое горло, там сейчас таких ребят с руками рвут, чего хочешь проси, дадут, любую ставку.

— Выходит, прочие к шапочному разбору поспеют?

— Не бери в голову, солдат, сам, небось, по дороге нагляделся, мусорный народ, салажить, грузовой балласт, только горло драть мастера, на весь эшелон людей — раз, два и обчелся, ты да я, да мы с тобой, пускай пождут, ничего им не сделается. — Недвижные, в хмельной поволоке глаза его, приближаясь к Федору, росли, увеличивались, расширялись. — Ты — человек, солдат, у меня нюх на людей есть, я человека по запаху чую. Не поминай меня лихом, солдат, гора с горой не сходится, а мы с тобой, верь моему слову, сойдемся...

Лица, лица, лица хороводом проплывали мимо него: кадровика, бабки, Полины, Золотарева, Конашевича, Овсянникова и чьи-то еще, размытые временем, полузабытые. Они кружились перед ним, повторяя друг за другом одно и то же, без перерыва, на все лады:

— Федя!..

— Федёк?..

- Феденька...
- Федор Тихоныч...
- Товарищ Самохин!
- Федя-я-я...

Федор разлепил глаза. В мутном рассвете за иллюминаторами, захлестывая небо, колыхались тускло-серые волны. Качка сделалась тише, размеренней, холод мягче и уступчивее, воды почти не прибавилось. Сквозь потрескивание обшивки и беспорядочный плеск снаружи к нему пробился голос Любы:

— Федя-я-я! — Она жалась в своем углу, судорожно вцепившись в край скамейки, с натянутым на голову полушубком. — Что же это будет, Федя, пропадем теперь!

Окончательно стряхивая с себя сонное наваждение, Федор решительно потянулся к ней:

— Бог даст, вынесет, Люба, не пропадем. — Сообразив, что долго она так не продержится, он вдруг вспомнил об инструментальной запаске в глубине каюты. — Погоди-ка, Люба! — Через минуту он уже выбрасывал оттуда разный подсобный хлам. — Сейчас, Люба, сейчас, заснешь, как в люльке. — Руки его действовали сами по себе; опережая сознание: он бережно вытянул из-под нее спальный мешок, расстелил по дну запаски, затем помог ей встать и, обхватив ее одной рукой за плечи, а другой нащупывая путь, добрался с нею до ящика. — Ложись, Люба, тут покойнее. — Он сложил хрупкое, со вздутым животом тело Любы в емкий уют запаски и накрыл ее сверху полушубком. — Засни, Люба, во сне время быстрее бежит.

- Страшно, Федя!
- Знаю, Любаня, знаю.
- Будто снится всё.
- Может, и снится, Люба.
- Невезучие мы, Федя.
- Как сказать, Люба, как сказать.
- Да разве не видно?

— Спи, родимая, спи...

Вскоре она затихла. Опавшее, в темных пятнах лицо ее разгладилось, плавно раскачиваясь вместе с волной в тающих сумерках штормового рассвета.

«Будь, что будет, — смирился с судьбой Федор, вновь устраиваясь, чтобы вздремнуть, — всем смертям не бывать!»

4

Федор пробудился от слепящего солнца, бившего ему прямо в глаза. Оглушительная тишина вливалась в него, облегчающе растворяя собою застывшую в нем чугунную тяжесть. Он даже зажмурился, пытаясь справиться с мыслями, настолько невсамделишным показалось ему это радужное наваждение. «Неужто пронесло? — ликующе обмер он. — Неужто выбрались!»

С трудом расправляясь, Федор поднялся и приник к иллюминатору: за бортом, насколько хватало глаз, стелилось дымящееся, словно отполированное, зеркало моря, с врезанным в него откуда-то сбоку ломким контуром берега. Жадно впитывая в себя неожиданную благодать, он, в конце концов, облегченно утвердился: «Выбрались!»

Федор в возбуждении дернулся было к Любе. Та спала в запаске, по-детски подложив локоть под голову. Веснушчатое лицо ее светилось блаженным забытием. Можно было подумать, что штормовая кутерьма и смертная безнадежность минувших суток пронеслись где-то над ней, поверх вот этого ее сна, в стороне от этого ее случайного убежища.

Стараясь не разбудить Любу ненароком, он с трудом выбрался на палубу, задохнувшись открывшимся ему простором. Катер, почему-то кормой к берегу, прочно сидел на мели посреди подковообразной бухты с нависавшими над ней со всех сторон голубоватыми

сопками в мареве раннего утра и с режущей желтой полосой песка по всему подножью.

— Федя, — чуть слышно донеслось сзади, — а Федь! — Он порывисто обернулся: жмурясь от солнца, Люба продиралась к нему взглядом, голос ее слегка подрагивал. — Где мы?

В ответ Федор засмеялся и, только отсмеявшись, выдохнул:

— Приехали, Любаня, станция Березань, кому надо вылезай... Берегите чемоданы, граждане!

— Куда приехали, Федя? — Она постепенно приходила в себя. — Где стоим?

— А за кудыкины горы, — снова не выдержав, засмеялся он, — разве не нравится?

— Тебе бы только шутки шутить. — Она шла, двигалась, плыла к нему из теплого полумрака каюты. — Правду скажи. — Двигаясь, Люба еще продолжала жмуриться, но едва она, выявившись из сумрака, поднялась над уровнем палубы, глаза ее удивленно распахнулись, а голос резко пресекался. — Господи, где же это мы!

— Не спрашивай, Любаня, где, — он помог ей выбраться на палубу, и она доверчиво приникла к нему, выжидающе озираясь вокруг. — Главное, выбрались, теперь, Бог даст, не пропадем.

— Боязно, Федя.

— Пострашнее было да вынесло, вынесет и тут.

— Тебе видней.

— Ладно, чего ждать у моря погоды, трогаться надо, неровен час, опять заштормит, вода здесь капризная. — Он бережно отстранил ее и стал медленно переваливаться за борт. — Держись, Любаня!

Вода с непривычки обожгла, но ее оказалось по пояс, и вскоре он уже по привычке к ней, нащупывая вокруг себя ровное, почти без наклона дно.

— Может, подождем еще? — Она умоляюще смотрела на него сверху. — Может, покличем кого?



Федор молча протянул к ней руки, и она послушно потянулась к нему, неловко перевалив свое тело через низкий борт прямо в его объятия. Он так и двинулся с нею на руках к берегу, глядя ей в глаза и безотчетно улыбаясь:

— Дышишь?

— Ага, — ответно светилась та, — ага.

— Замерзла?

— Что ты, Федя, что ты!

— Скоро придем.

— Тяжелая я, Федя?

— Еще бы, — хохотнул он, — вас, как-никак, теперь двое.

Тут они засмеялись оба: тихо, потаенно, доверительно.

Дно поднималось всё выше, выявляя песчаную рябь под ногами, пока не вывело их, наконец, на горячий уже песок береговой полосы. И только после этого он спустил ее с рук. И вздохнул. И оглянулся.

Берег вытягивался вдоль бухты ломкой полупетлей. Сопка нагромождалась здесь на сопку и поверх самой высокой из них Федор разглядел вышку, над которой свисало яркое полотнище флага: восходящее солнце на белом поле, — а разглядев, с обморочной остротой определил: чужбина!

Но предстояло жить дальше. И он сказал ей:

— Пошли, Люба.

## 5

*«И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал.*

*Впредь во все дни земли сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».*

Париж — ля Боль  
1976-78 гг.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	7
Глава вторая	23
Глава третья	44
Глава четвертая	57
Глава пятая. Сон Золотарева	80
Глава шестая	111
Глава седьмая	127
Глава восьмая	141
Глава девятая	164
Глава десятая	209
Глава одиннадцатая	217
Глава двенадцатая	224
Глава тринадцатая	242
Глава четырнадцатая	269

